

**Николай  
ПОЛОТНЯНКО**  
г. Ульяновск



# ЖЕРТВА СЛАДОСТИ НЕМЕЦКОЙ

*исторический роман (журнальный вариант)*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

– 1 –

*Подьячий Посольского приказа  
Григорий Котошихин,  
автор одного из самых известных  
исторических и литературных памятников  
«О России в царствование  
Алексея Михайловича»,  
изменил своему Отечеству,  
бежал в Швецию, где написал  
книгу «О России в царствование  
Алексея Михайловича...».*

*За совершённое им вскоре убийство  
на бытовой почве был обезглавлен,  
и его скелет несколько десятков лет служил  
наглядным пособием для обучения  
студентов медицинского отделения  
Упсальского университета.*

*Трагическая судьба самого значительного  
русского летописца середины XVII века  
почти не известна  
современным читателям.*

*Она послужила автору основой  
для создания исторически верного  
и психологически точного романа.*

В стрельчатое окно царского терема из-за кремлёвской стены брызнул луч восходящего солнца, и комнатный стольник Голохвастов вопрошающе глянул на Алексея Михайловича, который, отложив в сторону гусиное перо, недовольно хмыкнул и поднялся с кресла:

– Гаси свечи да открой продух.

Великий государь был раздражён: речь, которую он хотел произнести сегодня на Ближней думе, никак не складывалась, слишком многое в ней нужно примирить из того, что было непримиримым. Шестой год шла война с поляками за Украину, в кровавую прю между славянами вязалась Швеция, и с ней сейчас после заключения Валиесарского перемирия шли трудные переговоры о перебежчиках и заключении полного мирного договора; не давали вздремнуть турки и крымские татары. Но больнее и обиднее ранили душу Алексея Михайловича низкие поступки тех, кого он числил среди людей к себе ближних. Не далее как два месяца назад сын валиесарского посла Войка Нащёкин захватил важные государе-

вы бумаги, казну и переметнулся к ляхам. И впо-ру было великому государю заглядываться, ожидая нового подвоха.

Стольник неловко загасил свечи, в комнате заприпахивало гарью, но Алексей Михайлович не осерчал:

– А ты, злодей Федька, государя из его комнаты выжил! Сбегай к Ртищеву, пусть он вместе с царевичем идёт в сад.

В сенях на скамье сидели несколько бояр и окольничих. Завидев государя, они повалились в земном поклоне. Алексей Михайлович успел подхватить князя Одоевского.

– Подремли, Никита Иванович, ещё чуток, а я скоро буду.

Он прошёл через несколько покоев. Стоявший возле крайней двери стремянной стрелец открыл её, и царь оказался на пустом крыльце перед дворцовым садом. Сзади хлопнула дверь: догнавший государя комнатный стольник возложил на его плечи лёгкую, для межсезонных выходов, соболью шубу.

Затяжная и часто прерываемая морозными метелями весна 1660 года всего лишь две недели назад наконец-то взялась за своё хлопотное дело. И в несколько дней, как раз к Благовещенью, успела очистить Москву от грязного, превратившегося в стекловидную кашицу снега, наполнила все низменные места водой, и на Кремлёвском холме возле стен соборов, палат царского двора и изб приказов уже успели зазеленеть полоски гусиной травы, и вербы надо рвом подёрнулись цыплячьим пухом.

Дворцовый сад, огороженный решётчатым забором, был невелик и предназначался для гуляний царской семьи. За плодовыми деревьями и кустарниками ухаживал садовник, который, попирая коленами толчёный кирпич дорожки, встретил царя рабьим поклоном.

– Что, Маркелыч, не забыл уговор? – весело сказал Алексей Михайлович.

– Как забыть! – всплеснул руками старик. – Записал на бумажку и отдал попу, и он мне сегодня напомнил.

– Вот послушай, Алёша, о чём мы с Маркелычем прошлой осенью уговорились, – сказал Алексей Михайлович сыну, который, поцеловав отцу руку, отступил к своему воспитателю, окольничему Ртищеву, и, улыбаясь, глядел на садовника.

– Ты скворца в этом году слышал? – спросил Алексей Михайлович. – Конечно, не слышал и не видел. А они, должно быть, прилетели?

– Не все, но уже есть, – доложил садовник. – Главное, что твоя, государь, избушка занята.

– Ну и как? – нетерпеливо спросил царь. – Вернулись те самые, что и в прошлом году здесь жили?

– Не могу верно сказать, я ведь слепну, государь, день ото дня хуже вижу...

– Веди! – поторопил садовника Алексей Михайлович и оборотился к Ртищеву. – Я, Фёдор, прошлой осенью с Маркелычем побился об заклад, что весной прилетят в мою избушку те же самые скворушки, что там и жили. Вот и поглядим сейчас, кто оказался прав.

Государев кузовок, или скворечня, был, как и другие, расставленные на шестах по всему саду, резной избушкой с теремной, украшенной по краям узорчатыми балясинками, крышей и просторным перед летком крыльчком, где было нетесно миловать птахам. Крыльцо глядело на солнечную сторону, и на нём, сияя перламутром горловых и грудинных перьев, пошевеливая от усердия крылышками и раскрыв клювные щипчики, восторженно и самозабвенно изливал свою песню влюблённый скворец.

Алексей Михайлович умиленно вслушался в скворчиное, с самыми затейливыми коленцами и выкрутасами, пение и наконец уверенно произнес:

– Он, точно, он вернулся!

Маркелыч не сдержался и недоверчиво хмыкнул.

– Что, старый, не узнаёшь?

– Поди его узнай, – сказал садовник. – Все они на один цвет – чёрные, как пережаренные шкварки.

– Да ты не только слеп, старик, но и глух! – взволновался Алексей Михайлович. – А ты, Алёша, слушай, слушай... Вот он сейчас закулыкал, а это ямской посвист, а это, внимай, ржание, вот и в червякову дудку заиграл. Я, Алёша, это сызмальства знаю. И ты, Маркелыч, мне не перечь, это тот самый скворец, что прошлым годом здесь жил. А где, Алёша, твоя скворчиная избушка?

– Вот она, с зелёной крышей! – оглядевшись, закричал царевич. – И мои скворцы вернулись!

Алексее Михайловичу радость сына было видеть утешно, он повлажневшим от прилива нежности взглядом посмотрел вслед царевичу и тихо промолвил:

– Я готов за сына тебя, Фёдор, пожаловать чем пожелаешь.

– Счастлив тем же, чем и ты, великий государь, – поклонился Ртищев. – Царевич весел и здоров, это и есть для меня награда.

– Вон как выщёлкивает! – восхитился Алексей Михайлович затейливой руладой вошедшего в раж скворца. – Надо будет завтра опять с утра его проведать. Рад бы в этом раю хоть до обедни

пробыть, да людские грехи не пускают. Сейчас явятся дьяк Алмаз и подьячий Никифоров. Мы оба с тобой, Фёдор, оказались тетерьями, обвёл нас Войка, похохатывает над нами в обнимку с панями. Я ему свои размыслы по шведским и польским делам изустно и письменно доверил, то-то ляхам радость, а ты его на бегство деньгами снабдил.

– Виноват, промахнулся я с этим Войкой, – смущённо вымолвил Ртищев. – Я ведь ему и раньше деньги давал для передачи отцу на лифляндские дела, и всегда они были целы. Утрату этих денег я казне возмещу.

– И не вздумай! – запротестовал Алексей Михайлович. – Ты что, Фёдор, решил в этой беде лучше меня выглядеть? Вернёшь деньги и очистишься, а что прикажешь делать мне? Я ведь ему не деньги доверил, а державные тайны, мне моей глупости не исправить. Уважь, Фёдор, старого друга, побудь и ты со мной заодно в виновных: этим от меня людские укоризны отведёшь. Станут говорить, что Ртищев сбил с толку государя, а ты ведь не станешь оправдываться? Так что деньги не возвращай, что с воза упало, то пропало. Мне этого Войку безмерно жаль: сгубил свою душу страшным грехом – предательством. А каково его отцу Афанасию знать, что сыну предстоит вечно пребывать в аду? Ведь ему спасение верно заказано: многим православным из-за его предательства суждено сгинуть, а скольким, и посчитать нет мочи.

– Ужели и до такой беды может дойти дело? – вздрогнул Ртищев. – Может, и обойдётся?

– Одна надежда, что у поляков иной раз такое безурядье начинается, что оно почище нашей бестолочи бывает. Они хоть и рядом с немцами живут, да никак от них порядку не научатся. Дьяк Алмаз не зря явится, у него да у подьячего Никифорова должны быть новости из Лифляндии и Польши. Можешь отпустить Алёшу и пойти со мной.

Царевичу не хотелось расставаться с воспитателем, и он взял его под руку.

– Добро, – сказал Алексей Михайлович. – Загляни ко мне, Федя, как освободишься от занятий с Алёшей.

В царских сенях прибавилось сильных людей: бояр, окольничих, думных дворян. Появление великого государя заставило всех замолчать и склониться в поклоне. Алексей Михайлович взглядом отыскал высокорослого дьяка Посольского приказа Алмаза Иванова и кивком позвал его за собой.

– Отыщи Никифорова! – велел он комнатному

стольнику. – Его, поди, затёрли на крыльце и не дают пройти в сени.

Хотя в саду было безветренно и светило солнце, руки у царя озябли, он подошёл к креслу, взял в охапку большого рыжего кота и устроил его у себя на коленях.

– Что, дьяк, невесел? – сказал Алексей Михайлович. – Или у тебя в Посольском приказе какой-нибудь подьячий своровал, как Войка Нащёкин?

Алмаз удивлённо глянул на царя, но не смутился, ибо ведал, что тот был горазд на неожиданные и каверзные выпады.

– В Посольском приказе, великий государь, переметчиков нет, – поклонившись, ответил дьяк.

– Ты меня утешил, но я этих слов не слышал, – усмехнулся Алексей Михайлович. – Ради твоих заслуг это, заметь, делаю, чтобы не наказывать тебя двойной карой, если из твоих ребят кто-нибудь сворует и переметнётся хотя бы к шведам. Кстати, есть ли вести об их новом короле?

– На шведский престол воссел молодой король Карл, по счёту одиннадцатый, – уверенным голосом произнёс Алмаз. – В межкоролевье, как тебе, великий государь, ведомо, все посольские и переговорные дела встали, послы начали отговариваться от утверждения Валиесарского договора тем, что им от нового короля нужна новая грамота, но дело явно не в грамоте.

– А в чём тогда? – насторожённо глянул Алексей Михайлович.

– Есть сведения, что шведы вздумали с поляками замирииться, отказаться от Валиесарского договора и потребовать для себя условий Столбовского мира.

– Стало быть, придётся отдать шведам все города на Балтийском побережье, – нахмурился царь. – А эти известия верны?

– Они от моего человека в Стокгольме, – сказал дьяк. – До сей поры всегда подтверждались. О том же доносит наш доброжелатель из Кракова. Поляки не могут опомниться от радости после наших неудач в Малороссии, воспряли духом и желают мира со Швецией, чтобы всеми силами воевать с нами.

– Надо этому помешать! – воскликнул Алексей Михайлович и покраснел от гнева, но ещё больше от осознания той правды, что у него нет сил воспрепятствовать неблагоприятному развитию событий. Шведские и польские послы съехались в Оливе и спешили изо всех сил заключить мир, который сразу ставил Россию в заведомо проигрышное положение в отношениях с этими странами.

Шесть лет назад Переяславская рада единодушно высказалась за воссоединение Украины с Россией, а более чем сто тысяч присутствовавших на раде казаков дали поручную записку, что они поддерживают это решение. Вскоре началась война между Россией и Речью Посполитой, которая была поначалу весьма удачной для русских войск и казаков Богдана Хмельницкого. Были заняты в 1654 году города Дорогобуж, Рославль, Орша, Гомель, Могилев, Смоленск, Полоцк, Витебск, и поляки терпели одно за другим поражения. Однако в самый разгар русских успехов в войну вмешалась Швеция, занявшая значительную часть территории коренной Польши, включая Варшаву и Краков.

– Не поторопились ли мы в своё время объявить войну Швеции? – задумчиво промолвил Алексей Михайлович. – Помогли устоять Польше, а ведь желали другого – занять Лифляндию, а нет, так хотя бы добрую гавань в Финском заливе.

Дьяк Алмаз слова царя оставил без ответа. Замирение с Польшей в 1656 году было вызвано неразумным чаянием Алексея Михайловича избраться на польский престол, что было немислимым делом из-за непримиримого противостояния католицизма и православия. Русские войска одержали несколько побед над шведами в Ливонии и Курляндии, однако вскоре шведы добились успехов, и Москве пришлось срочно искать мира, заключение которого было осложнено Конотопским разгромом в 1659 году армии Трубецкого, учинённом крымскими татарами и казаками гетмана Выговского.

– Со Швецией нам надобен мир, – сказал Алексей Михайлович. – Я велю Прозоровскому добиваться от шведов вечного мира, только пусть у них выговорит, хоть за деньги, город или два на берегу моря.

– С Карлом нам надо мириться, – горячо согласился Алмаз. – Искать следует мира и с поляками, с тем чтобы за нами осталась Слободская Украина.

– Мне ведомо, что ты радеешь за черкас как за своих, – сказал государь. – Только не стоят они этого: на черкас надеяться никак невозможно, верить им нечего: как трость ветром колеблема, так и они – увидят выгоду или нужду и русскими головами помирятся с ляхами и татарами.

– Среди черкас измене подвержена большая часть старшин, что тянутся к панству и ляхскому своеволью, а православный народ держит нашу сторону. Украину нам отдавать нельзя, великий государь, ради православия. Балтийское море от нас никуда не денется, а черкас свои же полков-

ники загонят в униатство, а это так усилит Польшу, что она может опять, как при Василии Шуйском, пойти на Москву.

– За скорейший мир со Швецией высказались все бояре Ближней думы, – сказал Алексей Михайлович. – Против мира мне много пишет Ордин-Нащёкин, а он посол на переговорах со шведами. Я жду, что он попросит уволить его от этого дела. Размысли, кого можно будет отправить на замену Афанасию Лаврентиевичу.

– Шведы, пока стороной, но доносят, что думный дворянин подкуплен ляхами и стоит на их стороне, – осторожно сказал дьяк. – Шведский посол Бенгт Горн в открытую говорит, что Войка не сам бежал к полякам в Данцинг, а был направлен туда родителем.

– Ты силён в немецких хитростях, Алмаз, вот и разбирайся, где правда, – сказал великий государь. – А я Афанасию Лаврентиевичу верю. А это, дьяк, мне важнее, чем даже правда. Шведы известные умельцы строить всякие гадости. Или ты забыл, как они меня Геростратом обозвали? Я тебе велел узнать, что это за некресть такая – Герострат?

– Проведал, великий государь, – услышав в голосе царя грозные нотки, склонился дьяк. – Это ветхий грек, который жил во времена царя Соломона.

– И что он такое учудил, что меня шведы обругали его именем и воздвигли на православного государя злые бесчестья, хулы и укорины?

– Сжѐг языческий храм...

– И только-то! – после некоторого молчания воскликнул Алексей Михайлович. – В его деянии я не усматриваю ничего злого. Для лютеран шведов, чья вера недалеко ушла от язычества, сей Герострат, может, и тиран, а православный человек его поступок признает добрым.

– Истинно так, великий государь, – серьёзно произнёс Алмаз. – В Швецию послан гонец с требованием сжечь все порочащие честь великого государя памфлеты.

– Что им твоё требование! – махнул рукой, напугав кота, лежавшего у него на коленях, Алексей Михайлович. – Они зачешутся, когда за бесчестие мы потребуем этак тысяч пятьсот ефимков. Жаль, что этого нельзя сделать: православный государь не вправе торговать своей честью.

– Можно было бы и миллион ефимков с них стянуть, – усмехнулся Алмаз.

– Впрочем, в сем деле есть большая для нас наука: от немцев можно всегда ожидать немислимой пакости, на которую не способны даже такие некрести, как султан и хан. Турок и татарин не станут марать бумагу хулой на иноверного государя, а

пойдут на него всей своей воинской силой. А немцы – ловкачи уязвить исподтишка, а потом заявить, что у них свобода и каждый волен говорить и писать что похочет. Может, и мне поволить людишкам писать что им прибредёт в головы?

– Страхусь, великий государь, что наши людишки кинутся не шведские порядки обличать, а свои, и выйдет великое в государстве нестрое, – сказал дьяк. – Тут за своими писарями в приказе не всегда углядишь.

– Ага! – весело воскликнул Алексей Михайлович. – Значит, я угадал, когда глянул на тебя сегодня в первый раз, что ты явился с дурной вестью. Ну, говори, что там стряслось? Или моё несчастье в грамотке, которую ты держишь в руке? Тогда читай!

– Сия грамота есть отписка послов о съездах со шведскими послами, но читать её немочно...

– Ну, не тьяни, Алмаз, читай! – поторопил дьяка Алексей Михайлович.

– Не могу, великий государь! – вымолвил Алмаз Иванов. – В сей грамотке есть поношение твоего титула, великий государь.

– Ах, вот как! – построжел Алексей Михайлович. – Стало быть, не только шведы и поляки меня хулят, но и свои людишки.

– В сей грамоте, великий государь, – скорбно произнёс Алмаз, – в первом столбце, где надобно писать «великого государя», прописано «великого», а «государя» не написано.

– Ну и кто тот остолоп, что всё это сотворил?

– Молодой подьячий Гришка Котошихин, – осторожно произнёс дьяк. – Какую поволит, великий государь, учинить над ним казнь?

Остережение государевой чести было первоочередным делом для всех служилых людей Московского государства. Считалось, что за государеву честь должно и умереть. В государевом титуле указывались пределы его власти, иногда из-за пропуска в титуле названия какой-нибудь местности случались крупные ссоры между государями, виновники предавались смерти. Однако здесь не было очевидного умысла на злодейство, и Алексей Михайлович снисходительно промолвил:

– Мне голова этого дурака не нужна. Читай, дьяк, мою отписку послам. Она у тебя, поди, готова?

Дьяк поклонился царю, откашлялся и развернул бумажный свиток.

– От царя великого князя Алексея Михайловича всея Великия Малыя и Белые России самодержца нашим великим и полномочным послам думскому дворянину и наместнику Шацкому Афанасию Лаврентиевичу Ордин-Нащёкину со товари-

щи. К нам свейских послов с вами о съездах с листами свейских же послов прислан перевод. В отписке вашей в первом столбце прописано, где надобно написать нас «великого государя», и написано «великого», а «государя» не написано. И то вы учинили неостерегательно. И как к вам сия наша грамота придёт, впредь в отписках своих и делах, которые будут на письме, нашего великого государя наименование и честь писали с осторогательством, а вы, дьяки, вычитывали всякие письма сами не единожды и высматривали гораздо, чтоб впредь в наших письмах таких неосторожностей не было, а подьячему Гришке Котошихину, который тое отписку писал, велели б за то учинить наказание, бить батоги...

Алмаз скатал лист в трубку и низко поклонился царю, который в ответ благодушно улыбнулся, поскольку был доволен тем, как выполнена отписка: не только с обережением титула, но и души великого государя – он никогда не брал на себя греха, назначая казнь подданным, этим занимались Ближняя дума и высшие чины приказов. И в этом случае царь лишь указал бить Гришку «в батоги», но не определил тяжесть наказания, и теперь во власти посла Ордин-Нащёкина было забить провинившегося подьячего до смерти или ограничиться несколькими лёгкими шлепами.

Комнатный стольник закрыл за Алмазом дверь на железный крюк и шмыгнул за тяжёлую, из лилового бархата, занавесь, но вскоре вернулся оттуда с подьячим Приказа тайных дел Никифоровым, который имел право заходить к царю через особые двери.

– Говори, Юшка, – хмуро промолвил царь. – Чем готов меня обрадовать, а то я, признаться, заскучал от худых вестей.

– Доброго, великий государь, и я не смог для тебя припасти, кроме правды. Думный дворянин пребывает в здравом уме и никому вида не подаёт, что с ним случилась такая беда. Твой ответ он вычитал при мне, и на том месте, где написано, что ты, великий государь, не ставишь дурость сына его Войки в упрёк думному дворянину, залллся слезами и поцеловал трижды твою грамоту.

– Ты передал ему мои слова, чтобы он об отъезде сына не печалился? – спросил царь. – Думает он о своём сыне промышлять, чтобы опростать его из Неметчины?

– Он мне не единожды говорил, что печали у него о сыне нет и его не жаль, а жаль дела, и печаль его о том, что Войка, призрев государя неизречённую милость, своровал. Государевы десять тысяч рублей на возвращение сына он тратить не хочет, это дело думный дворянин положил на суд

Божий, Войка за свою неправду и без того пропадёт и будет судим судом Божиим.

– Говорил ли ты Афанасию о небытии сына на свете, поскольку тот увёз многие наши тайны врагам православия? – спросил Алексей Михайлович, пристально вглядываясь в подьячего.

– По твоему слову, великий государь, я примерился к отцовским речам и не нашёл в них убийственного гнева на сына. Думный дворянин положился на суд Божий, и я решил, что не вправе ему мешать.

– Добро, раз так; будет нужда, и Войка от нас не уйдёт, – промолвил Алексей Михайлович. – Не вызнал ли ты тех людишек, что отвратили Войку от материнского и отцовского и заразили его чужебесием?

– Таких долго искать не надо, великий государь, – помявшись, осторожно произнёс Никифоров. – Они с отроком всегда были рядом: хвалили всё немецкое, хаяли всё русское...

– Ну и кто же это такие? – спросил, закипая гневом, царь.

– Отец...

– Какой отец? – удивился Алексей Михайлович. – Афанасий?..

– Он – главное зло для своего сына, – сказал подьячий. – Он приучил его с младых лет смотреть с благоговением на Запад своими толками, что в тех государствах всё делается иначе и лучше, чем у нас. Думный дворянин, желая образовать сына знанием чужих языков, окружил его пленными поляками, а те постарались усилить в нём страсть к чужеземному, нелюбье к своему, воспламенили хилый ум юнца рассказами о польской воле.

– Не лишнее ли ты, Юшка, клепаешь на Ордин-Нащёкина? – подозрительно воззрился на подьячего Алексей Михайлович. – Ты же сам мне доносил в том году, что Афанасий велел бить сына батогами за обман латышей.

– Боюсь, что поздно думный дворянин принялся учить сына русскому ладу, – твёрдо ответил Никифоров. – Батоги ума Войке не прибавили, но озлили и ожесточили. Возможно, с той поры и он стал лелеять свой поганый умысел – уйти в Польшу с большим вредом для нас.

– Вот что, Юшка, – Алексей Михайлович приблизил к себе подьячего, прошептал ему в ухо. – Войка унёс от нас не только деньги и мои размышления о польских делах, но и посольские тайнописные таблицы, оттого вся переписка с послами может быть ведома полякам. Таблицы мы заметим, но ты всегда имей их в уме, чтобы не упустить, если где-то появятся их следы.

– Мне возвращаться в Ливонию, к послам? – спросил Никифоров, правильно истолковав слова царя.

– Можешь до Пасхи побыть в Москве, – разрешил Алексей Михайлович. – К тому времени будут готовы послам новые поручения. Подойди.

Никифоров приблизился к великому государю, и тот положил в просторную ладонь подьячего несколько золотых монет.

– Что бояре? – спросил Алексей Михайлович у комнатного стольника.

– Все здесь, кто в сенях, кто в Думной палате.

– Скажи им, чтоб не разбредались, – сказал Алексей Михайлович. – Я скоро буду.

Он взял со стола тетрадь с черновиком речи, которую намеревался произнести перед Ближней думой, и, подойдя к окну, стал её вычитывать. Пробежав взглядом несколько строк, он недовольно поморщился и бросил тетрадь на столец. В окно светило молодое весеннее солнце, Алексей Михайлович подумал, что пришла пора промять свою соколиную охоту, от этой мысли сердце бывалого птичьего добытчика возжглось не единожды изведанным восторгом, какой он всегда испытывал при виде сокола, бьющего лебедя влёт.

– 2 –

Думный дворянин, лифляндский воевода и уже несколько лет как великий посол русского царя на переговорах о мире со Швецией Афанасий Лаврентиевич Ордин-Нащёкин любому, даже самому покойному коню предпочитал карету, чем иногда вызывал затаённые насмешки людей, глядевших на этот способ передвижения как неличащий воеводе пограничья, но он не смущался, а даже, наоборот, находил в карете много достоинств и всего лишь один недостаток: она иногда ломалась, на ухабах и яминах русского бездорожья не выдерживали ни оси, ни колёса. Зато в карете можно было и спать, и дремать, и думать, верхом на коне этого делать было нельзя, ну разве что подремать, и то с большим риском сверзиться на землю, а какие могут быть у всадника думы, когда его то и дело подбрасывает, подталкивает, трясёт и качает? Потому-то, наверно, среди кавалеристов много людей вспльчивых и горячих, и малорассудительных, и спокойных.

У посла карета была швейской работы; хотя он душой лежал больше к полякам, но не мог не признать, что шведское рукоделие одно из лучших в Европе и уступает разве что чуть-чуть толь-

ко английскому. То, что карета из западных стран, было видно и по тому, что пара краковых коней в неё были запряжены дышлом, а не в оглобли, о том же говорило искусство, с которым был выполнен кузов, с узорчатыми на обе стороны дверьми, и высокий облучок, где восседал кучер в красном кафтане. Внутри карета была обита телячьей кожей, а сиденья уложены мягкими подушками в замшевых наволочках. Сопровождали посла конные стрельцы во главе с капитаном Иваном Репиным, а на облучке покачивался рядом с кучером подъячий Посольского приказа Григорий Котошихин, которого думный дворянин взял с собой в поездку для письменной работы и как свидетеля своих переговоров со шведским послом Бенгт Горном.

Карета русского посла ехала, покачиваясь, по мягкой песчаной дороге среди дубового редколесья, Афанасий Лаврентиевич поглядывал по сторонам, занятый разрешением непростой загадки, которую загадал ему швейский посол Бенгт Горн, приславший к русскому посту близ Гдова своего гонца с трубочом и депешей. Сие было удивительно, поскольку шведы поначалу из-за своего бескоролья, затем из-за переговорных шашней, начатых ими с поляками в прусской деревеньке Оливе, уклонялись от встреч с русскими послами, хотя те наседали на них с требованием закрепить перемирие соглашение в Валиесаре заключением мира. И вот вчера игра в прятки закончилась, в русском посольском стане депешу прочли, и по зрелому размышлению было решено на встречу ехать Ордин-Нащёкину. Собственно, это выяснилось сразу, когда стало ясно, что другой великий посол князь Прозоровский не горит желанием сражаться за эту честь с лифляндским воеводой.

Весьма терпимый ко всему западному, Ордин-Нащёкин неблагосклонно относился к шведам, предпочитая им поляков, в которых видел заблудившихся в католицизме кровных славянских родичей. Неприязнь к шведам у Афанасия Лаврентиевича была наследственной, с ними воевали его дед в Ливонскую войну и отец во времена Смуты, шведские войска то и дело разоряли Псковщину, где находилось поместное владение Ордин-Нащёкиных, немало перетерпел и сам он от заносчивости и грубости шведов во времена своего воеводства в русских городах, которые находились в Лифляндии, но на исконно русских землях.

«К несчастью, у меня сейчас нет под рукой тридцатитысячного войска, как два года назад, когда шли переговоры в Валиесаре, – размыш-

лял Афанасий Лаврентиевич, покачиваясь на мягких замшевых подушках. – Тогда, чуя русскую воинскую силу поблизости, Бенгт Горн был мягок в жестах и податлив в речах. Согласился, правда поупрямившись, отдать русским три города на побережье, а это тебе не комар чихнул».

С той счастливой для Ордин-Нащёкина поры прошло всего полтора года, но многое за это время переменялось. Вчера хорошо оплачиваемый доброжелатель доставил Афанасию Лаврентиевичу список с мирного договора, который заключили в Оливе Польша и Швеция.

Пункт пятый договора гласил, что все земли, приобретённые Россией в войне, оставались за этими странами. Ордин-Нащёкин срочно усадил в секретную палатку под крепкий караул подъячего Гришку Котошихина, и переписанный им договор немедленно был отправлен в Москву на рассмотрение великому государю и ближним боярам.

От нелёгких дум посла отвлекли крики, и он выглянул в окно кареты.

– Что стряслось?

– Шведские драгуны, – с облучка наклонился Котошихин. – Собираются проводить нас к своему стану.

Коляска спустилась в низину, где были развёрнуты несколько больших шатров и с два десятка жилых палаток. Над лагерем раздался звук сигнальной трубы, и послышалась барабанная трескотня: русскому послу оказывались принятые между народами Европы знаки внимания и почёта. Перед невысоким земляным валом в два ряда стояла рота пехотинцев, по обоим её краям находились по полусотне драгун на гнедых конях, а впереди всех стоял посол Бенгт Горн, за ним – посольские чины и несколько офицеров.

Лифляндский воевода, увидев великолепию встречи, нисколько сим не смутился, взял кожаный сундучок с бумагами, затем легко, ибо был скор на ногу, высунулся из коляски, ступил на траву левой ногой, повернулся вполоборота к встречающим. Бенгт Горн, видимо, уже решил, что москвит сошёл на землю раньше его, и принылся слезать с коня, но когда швед уже опускался вниз, Ордин-Нащёкин вскочил в коляску и вышел из неё после того, как шведский посол уже стоял на земле двумя ногами. Утвердив таким образом государеву честь, Афанасий Лаврентиевич бдительности не утратил: оба посла, приезжий и встречающий, были в головных уборах, но никто не спешил обнажить голову первым. Ордин-Нащёкин, щупловатый, играя живыми глазами, оглядывал костистого и высокорослого шведа, в его усах и бороде пряталась язвительная

улыбка. Наконец Бенгт Горн, видимо, посчитал, что проявил достаточную выдержку и первым снял сверкнувший на солнце стальной шлем, над которым, играя всеми цветами радуги, закачалось петушиное перо.

Свейский посол всю жизнь прожил в Прибалтике и говорил по-русски довольно внятно:

– Будь здоров, Афанасий Лаврентиевич! Как жив-здоров великий государь Алексей Михайлович?

– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, – ответствовал с большой важностью русский посол, снимая брововую шапку, – всея Великия, и Малыя, и Белые России самодержец, благодаря Пресвятые Троицы, жив-здоров и вельми печётся о том, чтобы между его православным царством и Шведским королевством наискорейше был заключён честный и справедливый мир.

За сим оба посла поклонились друг другу, и Бенгт Горн произнёс, делая широкий жест:

– Изволь, Афанасий Лаврентиевич, отдохнуть с дороги в гостевом шатре.

Красная ткань шатра делала всё внутри него сукровичным на цвет, это не понравилось Ордин-Нащёкину, и он велел раздвинуть полог пошире, чтобы можно было любоваться нежарким и светлым, от просторного и безоблачного неба, майским днём. От шведского посла явился пристав с двумя солдатами, которые принесли для русского посла с его людьми еду и питье в судках, кувшинах и корзинах. Афанасий Лаврентиевич на подношения глянул мельком и велел капитану Репину раздать всё людям, а также выставить караул к его кожаному сундучку и к бумагам подъячего.

– Смотри, Иван, чтобы твои люди не разбрелись по округе. Сдаётся мне, что мы здесь и на полдня не засидимся. Шведам не терпится сунуть мне под нос ведомую всему миру новость. Что ж, сдую, не впервой.

Услышав сии слова, Гришка Котошихин, разбиравший из своей укладки письменные снасти, поднял голову и вопросительно глянул на Ордин-Нащёкина.

– Шведу хочется уязвить меня Оливским договором с поляками, другого дела для меня у него нет, – сказал Афанасий Лаврентиевич. – Бенгт Горн – генерал и всегда норовит огорошить соперника какой-нибудь неожиданной пакостью. На съездах в Валиесаре от него много претерпел Прозоровский, швед ему все уши прожужжал тем, что я отбираю у князя Ивана Семёновича славу великого переговорщика.

– Стало быть, письменных дел сегодня может и не быть? – спросил Котошихин.

– Ты, Гришка, от меня далеко не отходи. Прислушивайся, вникай, что шведы между собой говорят. Ты шведский язык достойно изучил?

– Не совсем ещё, господине, наловчился в разговоре, а понимаю почти всё.

– А ты побольше промеж шведов бывай и в шведском письме набирайся толку, я ведь тебе не возбраняю ходить куда тебе вздумается. Вот и пользуйся этим для дела.

Котошихин и в самом деле своей грамотностью, живым умом и тягой к знаниям выгодно отличался от большинства подъячих даже в Посольском приказе. Это углядел дьяк Алмаз Иванов, и уже почти два года Гришка находился на посольской службе в Прибалтике, получал награды и прибавку к жалованью и до сего часа был весел, не ведая, что и над ним готова вот-вот разразиться беда.

Около полудня к русскому послу явился пристав и объявил, что шведский посол ждёт в переговорном шатре и готов с ним встретиться.

Ордин-Нащёкин был бережлив, и его парадный посольский кафтан покоился в мешке из кожи нерпы, откуда его извлёк слуга, встряхнул, освобождая от пыли, и водрузил на плечи господина. Афанасий Лаврентиевич потребовал ножницы английской работы и тщательно подстриг ногти, затем самым лучшим казанским мылом вымыл руки, за чистотой коих следил со всей тщательностью, и даже полировал пилкой и щёткой свои крупные ногти.

Бенгт Горн тоже облокося в парадное одеяние, где главным украшением был блестящий железный доспех на левое плечо, что весьма личило воинственно распушенным усам генерала и жестокому и пустому взгляду оловянных глаз. Он встретил русского посла возле переговорного шатра, они обменялись поклонами и прошли внутрь, где расположились в креслах напротив друг друга. Афанасий Лаврентиевич лениво поглядывал на Бенгт Горна, а тот тоже не торопился начать беседу, пока ему не поднесли бумагу.

«Без подкаски и шагу боится сделать», – усмехнулся про себя Ордин-Нащёкин и решил заговорить первым, избрав для беседы довольно небрежный тон разговора.

– Господин посол! Последний раз мы съезжались в сентябре прошлого года, чтобы по повелениям наших государей промышлять о вечном мире между Россией и Швецией. Уповаю на то, что сегодня у нас не случайная встреча, где, кроме обмена любезностями, ничего существенного не бывает.

– В последние дни произошли важные события, – объявил генерал, – которые существенно продвинули переговоры о мире. Тем более что я был в отъезде и прибыл только вчера.

– Благодарю вас, господин посол, – лукаво промолвил Ордин-Нащёкин. – Вы открыли мне важную новость: оказывается, мой товарищ в послух князь Прозоровский слеп, а я о сем и не догадывался.

Бенгт Горн недоуменно глянул на гостя, а к генералу кинулся чиновник, приданный для советов из риксканцелярии, и приник к его красному уху.

– Не далее как неделю назад, – невозмутимо промолвил Ордин-Нащёкин, – князь Прозоровский поведал мне о том, что встретился с твоей милостью близ Нарвы, и передал мне пожелание крепкого здоровья.

– Я был на съезде послов в Оливе и прибыл только вчера, – стараясь быть спокойным, произнёс Бенгт Горн. – Князь Прозоровский, наверно, крепко приложился к чарке, и ему я привиделся.

– Бог с ним, с Прозоровским, – усмехнулся Афанасий Лаврентиевич. – Сейчас важно, что мы сидим друг против друга и можем говорить честно и откровенно. Швеция благодаря Богу обрела короля, и больше нет препятствий к заключению мира. Во всяком случае, я их не вижу.

Ордин-Нащёкин протянул руку, и Котошихин вложил в неё бумажный свиток, в котором были перечислены требования русской стороны. Бенгт Горн окинул тусклым взглядом русского посла, пожевал губами и сухо вымолвил:

– Моё правительство согласно на переговоры о мире, но с одним непрременным условием: Валиесарские соглашения должны быть похерены. За основу должен быть взят Столбовский мирный договор 1617 года.

Подобный поворот беседы не стал для Афанасия Лаврентиевича неожиданностью: было бы глупостью надеяться, что, заключив мир с Польшей, шведы удовольствуются условиями Валиесарского перемирия.

– Это, видимо, нужно понимать так, господин посол, что Балтийское побережье станет для России вновь недоступным, – сказал Ордин-Нащёкин, устремив на Бенгт Горна немигающий взгляд.

– Именно так, господин посол! – заявил шведский генерал. – Об этом говорят инструкции, полученные мной из Стокгольма.

– Это неслыханно! – Ордин-Нащёкин поднялся со стула. – Предлагаю сделать в заседании перерыв.

– Не возражаю! – с готовностью согласился

Бенгт Горн, полагая, что он с лихвой отомстил Ордин-Нащёкину за ту выходку, которую позволил себе московит в момент их встречи. Тогда генерал ступил на землю раньше, но теперь он его положит на обе лопатки, когда вручит ему для ознакомления перечень статей Оливского договора, чтобы московит слишком не возносился в своих надеждах. Он кивнул чиновнику риксканцелярии, и тот с поклоном вручил русскому послу дипломатический документ. Афанасий Лаврентиевич небрежно его принял, сунул в руки Гришке Котошихину и вышел из шатра.

Нельзя сказать, что он чувствовал себя спокойным: отмена Валиесарского соглашения стала, в первую очередь, ударом по Ордин-Нащёкину, который считал его своим детищем.

1 декабря 1658 года, когда под всполохи пушечной пальбы, радостные крики и золотой звон чарок послами были утверждены статьи перемирного договора, пробил звёздный час для захудалого дворянина, в одночасье ставшего известным всей России и обретшего себе надёжного сомысленика и друга в царе Алексее Михайловиче, который в думном дворянине и лифляндском воеводе открыл истинно христианскую душу, и в письмах доверял ему полностью, потому что ответные послания дышали неподдельной искренностью, боголюбием и ревностной заботой о благе для православного Отечества.

«Беда никогда не приходит одна, – вздохнул, взглядывая на тёмные лохматые тучи, набежавшие с моря, Афанасий Лаврентиевич. – На сей раз две беды, да ещё разом: сначала Войка роврал, и тут же – мир шведов с поляками. Сейчас ликуют все мои недруги...»

Он обернулся на лёгкий шорох: капитан Репин расстелил на траве для воеводы волчью шкуру и стоял, ожидая приказаний. Шведы тоже вышли из переговорного шатра и разожгли свои трубки с табачным зельем. Синий вонючий дым потянулся полосой в сторону русских стрельцов, и те поспешили от него в сторону. Ордин-Нащёкин знал, что переговоры закончатся в ближайшие полчаса, поэтому не стал спешить и сел на волчий мех, отвернувшись от посольского стана.

Бенгт Горн поглядывал в его сторону с ликованием: наконец-то ему удалось прижать хитрого и упрямого московита к стенке, чего швед добивался уже давно, ещё со встреч многолетней давности по размежеванию границ. Генерал Горн не гнушался в борьбе с русским послом ничем, даже клеветническим обвинением в предательстве:

«...Нащёкин теперь опять ищет доброму делу помешки, потому что с польским гетманом Гон-

севским всегда в великой дружбе жил, как брат родной, и полякам норовил; в Варшаве на сейме знатные люди говорили, что они не боятся мира между шведами и русскими, потому что есть человек, который этому миру помешает».

«Сейчас, кажется, пришёл его час, – подумал Афанасий Лаврентиевич. – Вон каким долгоногим журавлём вышагивает, топорщит железное крыло доспеха, раздулся от спеси, но, даст Бог, я его так уем, что не возрадуется! Со шведом я справлюсь, да как бы свои волки не съели, это надо же было придумать, что я в такой милости у Алексея Михайловича, в какой был Малюта Скуратов у Ивана Грозного».

От нелёгких розмыслов Афанасия Лаврентиевича отнял посольский подьячий, который слышно задышал рядом.

– Что, не терпится шведам предъявить свою пакость?

– На небо кивают, – доложил Гришка. – Говорят, что скоро дождь ливанёт.

– Большого дождя не будет, – сказал посол, вставая на ноги. – А ты ступай в гостевой шатёр, приберись там и будь готов к пути.

Шведы заметно устали ждать Ордин-Нащёкина, а ещё больше долго чаемого ими часа торжества над скифами, осмелившимися сунуться в Европу через балтийское окно. Бенгт Горн приосанился и внушительно произнес:

– Господам русским великим послам следует поторопиться подтвердить условия Столбовского мира, чтобы ещё более не осложнить своё положение.

– Надеюсь, это не угроза? – ошетинился Ордин-Нащёкин.

– Ни в коем случае, – ядовито вымолвил шведский посол. – С вами у нас перемирие, Россия воюет с Польшей и проигрывает: корпус Шереметьева в Белоруссии на грани разгрома, в Малороссии Трубецкой разбит наголову под Конотопом.

– Эти дела Швеции не касаются, – заметил Ордин-Нащёкин и закусил губу; ему было известно, что это далеко не так, о чём, не скрывая удовольствия, и объявил Бенгт Горн:

– Согласно статьи пятой Оливского договора, все земли, приобретённые на Западе Россией, начиная с 1654 года, должны отойти Швеции и Речи Посполитой. Этот пункт есть альфа и омега наших взаимоотношений с москвитями.

Афанасий Лаврентиевич с непроницаемым лицом выслушал шведского посла и поднялся со стула.

– Господин посол! – тщательно взвешивая слова, заявил Ордин-Нащёкин. – Это известие я дол-

жен довести до сведения великого государя, царя и великого князя Великия, и Малыя, и Бельяя России Алексея Михайловича!

К своему посольскому стану Ордин-Нащёкин подъезжал уже в сумерках. Хотя иного результата от встречи со шведским послом он не ожидал, на душе у него было тревожно и хмарно. Чтобы как-то взбодриться, он устроился в карете, как площадный подьячий: на шее чернильница, на коленях кожаный сундучок, на нём лист бумаги, в светце свеча. Не откладывая, он писал черновик письма, с тем чтобы завтра его перебелить и послать с нарочным в Приказ тайных дел для Алексея Михайловича:

«Теперь, пока перемирие со шведами не вышло, надобно скорее промышлять о мире с польским королем через посредство курфюрста бранденбургского и герцога курляндского; с польским королем мир гораздо надобен, нужнее шведского, потому что пролились крови многие и уже время дать покой. А не уступивши черкас, с польским королем мира не сыскать... С польским королем надо мириться в меру, чтобы поляки не искали потом случая нам отомстить. Если с польским королем мир заключён будет обидный, то он крепок не будет, потому что Польша и Литва не за морем. Причина к войне всегда найдётся...»

Объявив свои мысли, Афанасий Лаврентиевич очеркнул написанное и написал далее:

«Бьёт челом бедный беззаступный холоп Афонка Нащёкин. Моя службишка Богу и тебе, великому государю, известна; за твое государево дело, не страшась никого, я со многими остудился, и за то на меня от твоих думных людей доклады с посяганием и из городов отписки со многими неправдами, и тем разрушаются твои, государевы, дела, которые указано мне в Лифляндах делать; великому государю беспрестанно доносят печали через меня, беззаступного холопа твоего, и службишка моя до конца всеми ненавидима. Милосердный государь! Вели меня от посольства шведского отставить, чтоб тебе от многих людей докуки не было, чтоб не было злых переговоров и разрушения твоему делу из-за ненависти ко мне...»

Закончив работу, Афанасий Лаврентиевич погасил свечу и выглянул из кареты. От близкой реки вокруг было туманно, костры на посольском стане указывали путь, скоро послышались голоса стрелецкой стражи, потянуло дымком и запахами рыбного варева. Карета остановилась возле палатки Ордин-Нащёкина, он вышел из неё и сказал Котошихину:

– Меня что-то познабливает, я буду у себя, а ты, Гришка, ступай к Ивану Семёновичу и доложи ему обо всём, что видел и слышал.

Слуга кинулся возжечь в палатке свечу, но Афанасий Лаврентиевич его остановил, выпроводил вон, разделся и, поёживаясь от холодной сырости, нырнул под меховое одеяло. Он был ещё крепок телом, и дорога его мало утомила, но, закрыв глаза, явственно ощутил, как от обрушившихся на него несчастий устала и истомилась по вольному отдохновению его измученная неправдами и клеветами душа.

Устремив свой взор внутрь себя, в сторону сердца, Ордин-Нащёкин несколько раз прочёл Иисусову молитву, и его душа метнулась к самой острой своей боли, к Войке, чей образ, словно лицо утопленника из воды, всплыл перед отцом таким, каким тот его видел перед поездкой в Москву, после которой, обласканный царём и напутствуемый Ртищевым, он своровал изменой государю и Отечеству. Афанасию Лаврентиевичу вдруг уже другим привиделся сын, весёлый и хмельной, в окружении шляхтичей и ксендзов, и его сердце заледенело от ужаса: больше всего Ордин-Нащёкина страшило, что Войка соблазнится латинством и станет католиком или, что ещё хуже и отвратнее, сверзится в униатство – прибежище всех славянских предателей.

– Разве плохо я за ним приглядывал? – сокрушался, ёжась от озноба под одеялом, Афанасий Лаврентиевич.

– 3 –

Котошихин был достаточно опытным в обращении с сильными людьми подьячим, поэтому не поторопился показываться на глаза крутонравному князю Прозоровскому. Он осторожно, почти крадучись, подошёл к его палатке, присмотрелся, прислушался и убедился, что по-сол спит самым сторожким первым сном, нарушить который не решился бы ни один смельчак, даже стрелецкий капитан Иван Репин, имевший наградной трёхрублевый золотой на шапке за взятие Смоленска.

На цыпочках Гришка отступил от палатки и направился к большому костру, в свете которого метались людские тени. За весь день у него во рту, кроме ржаного, припахивающего плесенью сухаря, ничего не было, шведы, конечно, накормили бы всех от пуза, но Ордин-Нащёкин впал в такой гонор, что о совместной, неизбежно перешедшей в пирование, трапезе не могло быть и речи.

Стрельцы вернулись домой голодными и сейчас, обступив котел, выскребали из него остатки варёного гороха. Подьячий сразу понял, что его обнесли едой, и вернулся в свою палатку. Там он некоторое время полежал на мешке с соломой, покрытом попоной, затем запустил руку в тайное место и вынул оттуда кошелек с деньгами. Его сосед по палатке вкусно посапывал, но Гришку в сон не тянуло, у него, как у кота, была в первую половину ночи бессонница, которую он обычно тратил на выучивание шведских слов и чтение книг, но сегодня голод погнал его на промысел.

Опустив кошелек за пазуху, Котошихин тенью выскользнул из палатки и, обойдя сторожей, подошёл к конскому двору, где прислушался, затем осторожно покрякал утицей. Из сторожки донеслись вначале кашель, а после простуженный голос конюха Савелия:

– За каким делом, человеке, явился? Если овса похрумкать, так он у меня только для посольских коней.

Подьячий вышел на серебристую полосу лунной дорожки в сырой траве. Савелий его узнал и подхватился со своего соломенного лежбища.

– Чем услужить, Григорий Карпович?

– Оседлай коня и помалкивай! Подведёшь его к дороге. И не шуми, я тебя увижу.

Конюх уже давненько жил с посольскими людьми и был научен выполнять с первого слова всё, что они от него потребуют, и, главное, помалкивать обо всём, что он видит и слышит. Подьячий был для него сильным человеком, ходившим непосредственно под государевыми послами, и Савелий, не мешкая, оседлал солового коня, который уже был испытан Котошихиным в неоднократных ночных вылазках. Мерин, узнав его, потянулся к руке мягкими тёплыми губами.

– Годи! Нет ничего, – сказал Гришка. – Вот доедем, и получишь краюшку.

Конь ходко шёл по мягкой песчаной дороге, с обеих её сторон возвышался сумрачный ельник, из которого порой доносились звуки лесных обитателей, от которых всадник поёживался и теснее вжимался в седло. Однако страхи длились недолго, скоро дорога выбежала на пологий берег неширокой реки, где стояли большая изба и несколько дворовых построек, которые были подняты от половодья на высокие дубовые столбы. Это была корчма, которую содержал старожил здешних мест – еврей Исайка, прославившийся на всю литовскую округу Речи Посполитой тем, что выиграл в королевском суде тяжбу у богатого местного пана Цыбульского, и с той поры, когда речь вдруг заходила о нём, его

стали называть: «Это тот самый Исайка». Прозвище прилепилось и к самой корчме, и когда Гришка, оставив коня работнику, поднялся по лестнице и вошёл в избу, Исайка скоренько пошёл к нему и обрадовался как брату:

– Добрый день, пан Григорий! У того самого Исайки есть что выпить и чем закусить. Изволь пройти в панскую комнату.

Подьячий огляделся: в большом зале за дубовым столом на дубовых скамьях вокруг громадного жбана с пивом сидели мужики, латыши и русские, и, судя по замаслившимся лицам и громким речам, были веселы и довольны.

Стараясь не споткнуться о комы засохшей грязи на полу, Котошихин знакомым путём подошёл к полуоткрытой двери комнаты для господ, заглянул в неё и возрадовался: за столом сидел его давний знакомец, купец из Нарвы Кузьма Овчинников, при каждой встрече угощавший подьячего от пуза и большой любитель потолковать с ним о государственных материях, особливо о всяких дипломатических новостях.

– Ба! Григорий Карпович! – воскликнул, подскочив со скамьи, Овчинников. – Давненько же мы не виделись, почитай с декабря позапрошлого года, когда в Валиесаре обмывали перемирие. Будь здоров, брат Григорий!

– Челом, Кузьма Афанасьевич! – почтительно произнёс Гришка, весьма уважавший купца за толстую мошну и щедрые застолья.

– Ну, и чем, Исайка, ты можешь угостить моего друга? – спросил купец.

– Для него и для вашей милости у меня есть та самая водка и тот самый гусь, которыми я потчевал вашу милость.

Овчинников велел кочмарю принести ещё ветчины, капусты, мочёных яблок и повернулся к подьячему.

– А ты, Григорий Карпович, что сегодня решил отпраздновать?

– Не до праздников, – хмуро сказал подьячий. – Ездил с Ордин-Нащёкиным к шведам, а там не до разносолов было. Вернулись сюда, а здесь уже и котлы зачищены. Вот пришлось в корчму тащиться.

– Так что ж мы стоим! – спохватился Овчинников. – Садись за стол, вот бери ломоть хлеба и накладывай ложкой лососёвую икру, она, заметь, норвежского посола.

Упрашивать Гришку не пришлось. Он накинудся на икру, выпил чарку водки и взялся за гуся, а купец сидел с ним рядом, наливал да подкладывал угощенье, глядя на него нежным взглядом, как на кровного родственника.

– Кажись, наелся, – подавляя отрыжку, сказал Котошихин. – Извини, Кузьма Афанасьевич, что чарка будет последней. Мне нужно завтра явиться к князю Прозоровскому, а он хоть и сам ведром лопаёт, но похмельных на дух не выносит.

– Что же такое случилось, коли шведы послов не накормили обедом? – простодушно спросил Овчинников. – Разве такое раньше бывало?

– На моей памяти нет, – сказал Котошихин, обтирая ладонью засаленную бороду. – И послы пиоровали, и приказным людям перепало.

– Вот беда! – вздохнул Овчинников. – Видно, мира ещё долго не будет, а торговым людям это – нож острый. Совсем торговлишка захиреет.

– Не прибедряйся, Кузьма Афанасьевич, – сказал Котошихин. – Это русским купцам, окромя Швеции, сейчас некуда податься, а ты ведь хоть и русский, но подданный короля, живёшь в Нарве и ехать с товарами волен и в Англию, и во Францию.

– Так там и ждут нашего брата, – отмахнулся Овчинников. – Моя торговля здесь, я торгую с русскими купцами, а без крепкого мира это невозможно. Знать бы, что будет...

– Пока поляки со шведами замирились, – важно сказал Котошихин.

– Вот это новость! – подскочил Овчинников. – И какая от этого выгода купцам?

– Не может ваш брат без выгоды, – усмехнулся Котошихин. – С этим миром большая невыгода для нас, русских, явилась: как бы не пришлось отдавать все города и местности, что недавно отовоевали у шведов и ляхов.

– Слава Богу, что Нарва в стороне от всего этого перетряса осталась, – перекрестился Овчинников. – Выгоды мне от этого договора нет, но и потерь тоже.

– Смотрю я на тебя, Кузьма Афанасьевич, и всё хочу спросить, какво жить под шведами тебе, православному русскому человеку?

– Ну, ты, брат, и загнул вопросец, – сказал Овчинников. – Без доброй чарки и не ответить. Ты как, поддержишь меня?

– Наливай! – махнул рукой Григорий. – Но это точно последняя, а то меня князь проглотит и кости не выплюнет.

Они осушили чарки, Овчинников отвечать на вопрос не спешил, жевал закуску, поглядывая в сторону, и постукивал рукой по столу.

– Если ответить коротко, то русскому купцу жить в Швеции страшно, – вымолвил Овчинников. – Ему там легче голову и мошну потерять, чем в России.

– Вот так раз! – удивился Котошихин. – А все

нахваливают шведские порядки, мол, и честность, и чистота... Тогда почему страшно?

– А потому, что там приказные люди посулов не берут. Они все с университетской выучкой, довольны жалованьем и строго блюдут законы. И теперь представь, что я в чём-то допустил промашку, по пьяному делу нос кому-нибудь расквасил, не дай бог, и жизни лишил случайно. В той же Калуге я завернул бы барашка в бумажку и с поклоном к воеводе, а в Нарве, хоть я и в ста тысячах далеров, меня притянут к суду. А головы отсекают и бьют в батоги жестче, чем в России: палачи тоже не берут посулов.

– А как же говорят, что там всем людям живётся вольно?

– Это правда, – сказал Овчинников. – У них мужики в крепости никогда не бывали. Живут себе хуторами, как латыши, деревень у них нет.

Котошихина, который был склонен ко всему, что научает человека знаниям, интересовал университет в Упсале, о котором он был уже слышан.

– Это та же школа, только большая, учат там законам и лекарскому умению, – сказал Овчинников. – Мне в Стокгольме о нём таких страхов понарасказывали, что боюсь, Григорий, тебе повторить.

– Я не из пугливых, Кузьма Афанасьевич, – ещё сильнее заинтересовался Котошихин. – Говори, что слышал. Я с лавки не упаду.

– В той Упсале есть изба, заставленная склянками с частями человеческого тела. Ученики режут мёртвых людей вдоль и поперёк, копаются в требухе, а в особой избе стоит котёл, где мертвяков варят до тех пор, пока у них мясо от костей не отвалится.

– А это ещё зачем? – вздрогнул Котошихин, почувствовав, что у него похолодело на сердце.

– Дале не говорить? – обеспокоенно спросил Овчинников, увидев, как побледнел Григорий.

– Говори, я спокоен.

– Мясо я не знаю, куда девают, а вот кости скрепляют друг с другом в том порядке, в котором они у живого человека, серебряными и медными проволоками и ставят на обозрение всем ученикам, чтобы они постигали, как человек построен.

– Каких же людей они пускают на это дело? – опомнившись, спросил Котошихин.

– А тех, кого казнят, – ответил Овчинников. – Тебе что, Григорий, нехорошо?

Котошихин сгрёб рукой шапку и кинулся на выход, едва сдерживая тошноту. На свежем воздухе ему полегчало. Он отвязал от конюязи коня, с трудом забрался на него и выехал за ворота.

– Ты на меня, Григорий Карпович, не в обиде, что я такое наговорил? – окликнул его с крыльца Овчинников. – Ты меня не забывай. Будешь в посольских посылках в Нарве или Стокгольме, меня не обходи стороной, заглядывай!

Луна невесть куда закатилась, на небе и вокруг было непроходимо темно. Гришка поначалу пялил глаза, но скоро решил положиться на судьбу: ослабил поводья и предоставил коню самому найти дорогу домой. Вокруг было тихо, вся лесная живность угомонилась и отошла ко сну, и только иногда из еловой чащи доносились тяжкие вздохи болотной трясины.

Взволнованный рассказом нарвского купца, Котошихин только о нём и думал, но скоро спохватился и заоглядывался, отыскивая в окружающей его тьме хотя бы далёкий проблеск от сторожевых кострищ на посольском стане. О том же беспокоился и конь, он замедлил шаги, затем остановился и заржал. Прошло несколько минут, и неподалёку откликнулся ржанием другой конь, и Котошихину показалось, что прямо перед ним маячит, то вспыхивая, то загасая, небольшое кострище. Он взялся за поводья и через сотню саженой был на конском дворе, где его встретил, почёсываясь и зевая, одетый в овчину и заспанный конюх.

Гришка оставил ему коня, сунул в руку копейку и, обходя сторожей, пробрался в свою палатку и, не раздеваясь, а только сняв сапоги, рухнул на свою постель и погрузился в тревожный и многоцветный сон, в котором было много крови, и чужой, и своей, драк, погонь и падений с громадной высоты, от которой у Гришки замирало от ужаса сердце, и он начинал метаться и скрипеть зубами, пугая полевую мышку, которая любила лакомиться сухарными крошками, рассыпанными возле его постели.

– 4 –

Котошихин натуру имел впечатлительную. Угрозы Прозоровского строго взыскать с него за книгу, на которую он совершенно без умысла уронил несколько капель горячего сала, привели подьячего в полуобморочное состояние, и он вышел из палатки, пятясь задом и согнув спину в холопьем поклоне.

Денщик князя презрительно на него глянул и будто случайно прижал конём к дереву. Это Гришку опаматовало, он схватил князьего слугу за ногу, едва не опрокинув вверх тормашками, затем поднял с земли шапку и пошёл в сторону

своей палатки, одолеваемым тоскливыми и жалкими мыслями. Угроза Прозоровского была вовсе не шуточной, известны случаи, когда били батогами и вовсе за ничтожную вину, а Гришка попортил книгу из государева Посольского приказа, и дьяк Алмаз хотя и был справедлив, но строгости ему было не занимать, и уже не один подьячий отведал палок по его судейскому слову.

Котошихин битья, обычного на Москве способа воспитания нерадивых людишек, смертельно страшился с детства, когда он по шалости едва не спалил родительский дом угольком, которым хотел разжечь солому возле амбара. Отец узрел это и бурей налетел на Гришку, затоптал пламя, схватил палку и бил его до тех пор, пока тот не извизжался до немоты и не сделал под собой лужу. После пережитого ужаса Котошихин стал подвержен приступам страха, который без всякой на то причины вдруг обрушивался на него, заставляя трепетать и постанывать обомлевшую душу.

– А ведь беда не ходит одна, – подумал, затосковав, подьячий. – Как бы мне сегодня опять подо что-нибудь не попасть.

Он стал подумывать, где бы ему схорониться, но его ухватил дьяк Дохтуров.

– Гришка! Где ты, язви тебя в душу, шалобродничаешь?

– Как где? Иван Семёнович к себе призвал.

– Да ты уже полчаса кружишь возле этого дуба. Ступай и принимайся за отписку по панским делам!

– Иду, – буркнул Гришка себе под нос, дьяка он не опасался, Дохтуров был шумлив, но безобиден, и подьячие знали его страсть всем желающим его слушать рассказывать об Англии, где он побывал в 1645 году с известием о кончине царя Михаила и восшествии на престол Алексея Михайловича. Занятый своими страхами, Котошихин спросил дьяка:

– Герасим Семёнович, а в Англии бьют батогами за то, что кто-нибудь закапал книгу свечным салом без всякого умысла?

– Сие мне неизвестно, – задумчиво произнёс Дохтуров. – Но там, брат, могут за любую бездельницу отправить всякого простолюдина на жительство к людоедам. Вот и решай, что лучше: батоги или людоедская пасть? По мне – так батоги!

До обеда Котошихин, не торопясь и позёывая, писал отписку великих послов в Поместный приказ о православных панах, кои возымели желание уйти от униатского насилия на Москву, где великий государь щедро жаловал их земельными и денежными дачами. Отписка была немаленькой: в ней указывались подробные родословия переселенцев, их службы польскому королю,

имения, оставляемые на старом месте. В помощь составлению отписки у подьячего были собственноручные панские челобитные царю, описи имений, выписки из родословных книг и другие свидетельства. Всё это Котошихин сводил в одну обширную запись и к обеду закончил работу, которую дьяк Дохтуров оглядел мельком на предмет помарок и подписался на обратной стороне склеенных листов своим именем. Гришкину руку он знал и в подьяческом деле доверял ему полностью.

Гришка вышел из палатки и сразу почувствовал, что слюны у него во рту сильно прибыло: посольский стан был погружен в запахи наваристых мясных щей и разопретшей гречки с коровьим маслом. Он, долго не думая, скорой иноходью устремился к поварской палатке и был одним из первых, кто успел ухватить глиняную миску, коих всегда был недостаток, и встал в очередь к котлу. Повар мельком на него глянул и, узнав, ослабилась: Котошихин в подпитии бывал щедр и, не скупясь, подносил ему чарку. Сегодня повар отдал ему большим куском мяса, а в кашу плеснул масла вдвое больше, чем другим. От питательной сыти Гришка слегка запьянел и, поглаживая округлившееся брюхо, добрал до своей палатки, где раскинулся на постели, растегнул ворот рубахи, ослабил пояс штанов и, блаженно потянувшись, закрыл глаза.

На посольском стане после обеда любили поспать вволю, это считалось, как и всюду на Руси, делом здоровым и даже богоугодным, ибо давно известно, что сон освобождает душу от земных уз и позволяет ей видеть и райские кущи, и горние пределы. Во сне человеку доступно многое, и Гришке снилось, как он милуется с дочкой «того самого» Исайки, пышноволоосой и огненноглазой Сарой, на которую при встрече подьячий заглядывался и даже пытался с ней заговорить, но девка только опаляла его взглядом и, покачивая бёдрами, удалялась прочь от полоротого иноверца. Во сне Сара была не так строга и неприступна, и Гришка был готов торжествовать победу, но в самый решительный миг девка растаяла, как ком снега, а подьячего кто-то ткнул в бок. Он вскинулся с постели, протёр глаза и узрел перед собой стрелецкого капитана Репина.

– Что стряслось? – слабым голосом пролепетал Гришка, чувствуя, как на него обрушился, выходя див ему нутро, животный страх.

– Тебя требуют к себе великие послы! – выдохнул Репин и железной рукой ухватил подьячего за шиворот. – Твоё, страдник, имя стало ведомо великому государю.

Котошихин вякнул, как уловленный петлёй заяц, и капитан поволок ослабевшего ногами подъячего к палатке Прозоровского, где бросил его под ноги князя ничком на вытопанную траву.

– Это и есть посягатель на государеву честь Гришка Котошихин! – объявил Прозоровский подъячему Приказа тайных дел Юрию Никифоровичу, который только что прибыл из Москвы с поручениями Алексея Михайловича великим послам.

– Да будет тебе ведомо, лиходей, что ты умалил государев титул, написав «великий» и не написав «государь». Дьяк Алмаз отписывает волю царя: за допущенную ошибку бить тебя в батоги, а число ударов определить нам, великим послам.

Прозоровский глянул на Ордин-Нащёкина, но тот стоял, углублённый в свою, только ему ведомую думу, держа в руке полученную от царя грамоту.

– Указано также посольским дьякам с тцанием вычитывать сделанные подъячими отписки, а не подмахивать их своей подписью без проверки.

Посольские дьяки Дохтуров и Юрьев окаменели лицами и жгли поверженного на землю Котошихина огненными взорами. Пропуск ошибки в написании государева титула был для них несмысливаемой порухой подъяческой чести, которая на Москве никогда не будет прощена и забыта.

Вжавшись лицом в жёсткую траву, Котошихин с ужасом внимал всему, что происходит, и Прозоровский вновь обратил на него свой гнев:

– А ведь ты, Гришка, пакостник! Не далее как утром я выговаривал тебе за испорченный лист в книге, а ты, оказывается, уже до этого успел умалить государев титул и уязвить великого государя. Да ведомо ли тебе, что ты совершил зло, равного коему вряд ли отыщется в статьях «Соборного уложения», которое ты успел испачкать? За умаление государева титула тебе полагается смерть, но великий государь милостив и велел бить тебя в батоги. Как мыслишь, Афанасий Лаврентиевич, пятидесяти будет не мало?

– Добавь ещё с десяток палок, – сказал Ордин-Нащёкин. – Это будет ему наказание за книгу. А ты, Гришка, знай, что князь к тебе милостив из-за твоего борзописания и тяги к иноземным языкам.

Прозоровский покосился на Никифорова, подъячий Приказа тайных дел был приставлен царём к великому посольству для лучшего проведывания дел, в нём чинимых, и имел прямую почтовую связь с великим государем, которому обязан был докладывать обо всём, что он видит и слышит.

– А ты, Юрий, как считаешь, не мало ли наказание? – сказал князь. – Не высказывал ли на этот счёт дьяк Алмаз своих пожеланий?

– Великий государь милостив, – промолвил подъячий. – Была бы возможность, он бы всех миловал, но твоё решение, князь, его не огорчило бы, оно кажется справедливым.

– Стало быть, так и решим, – важно произнёс Прозоровский. – А ну, Иван, встряхни Гришку.

Репин поставил подъячего на ноги и встряхнул так, что тот взмахнул руками и ногами, будто собрался отсель улететь.

– Полегче, Иван, – обеспокоился Прозоровский. – Озаботься казнью, а Гришку посади под крепкий караул, да накажи стрельцам, чтоб за ним доглядывали, как бы он не сотворил над собой какую-нибудь дурь.

Капитан отдал Котошихина в руки двух дюжих стрельцов, и те потащили его к своим палаткам. Ещё трёх служивых Репин послал на берег реки с приказом наломать гибких тальниковых палок, а сам, взяв двух стрельцов с топорами, стал руководить постройкой лавки из берёзовых жердей, на которую надлежало возложить для удобного битья провинившегося подъячего.

Приезд Никифорова был для великих послов немалым событием, от подъячего, близкого к царскому двору, они надеялись насытиться новостями сначала вместе, а потом поодиночке, поскольку, кроме государевых дел, у Прозоровского и Ордин-Нащёкина были и свои личные заботы, про которые они хотели, но не могли забыть. Причастность к Приказу тайных дел несколько поднимала Никифорова в глазах великих послов, но далеко не уравнивала с ними, особенно с Прозоровским, боярином из первого, ближнего к государю круга знати, и подъячий это понимал, не возносился и был с послами скромнен, как блудница на исповеди.

Осторожно, взвешивая на кончике языка каждое слово, перед тем как его произнести, Никифоров поведал о том, что больше всего сейчас заботит великого государя мир со шведами, заключение которого даст России передышку на балтийском направлении, позволит разобраться с черкасами, которые, сложившись с татарами, нанесли Москве страшное поражение под Конотопом, а совсем недавно такая же беда случилась и под Чудновом: войско разгромлено, половина ратников и сам воевода Шереметев, подписавший условия позорной капитуляции, в плену, и многие малороссийские города оставлены.

– Стало быть, Украина уже не наша? – потрясённо вымолвил Прозоровский.

Этот горестный возглас остался без ответа. Никифоров промолчал, тайные дела приучили его к сугубой осторожности во всём. Ордин-Нащёкин увидел в последних событиях подтверждение своей давней мысли: искать с ляхами мира, и, помедлив, желчно вымолвил:

– Черкасы – народ zelo шаткий, бездушный и непостоянный. Они хотя и исповедуют православную веру, но обычаи и нравы имеют негодные, и причиной тому ересь, но не духовная, а политическая, и начальники этой ереси ляхи, от них научились её держаться и все немцы. Черкасы от нас одно добро видели, но взяли, как их учителя – ляхи, себе в голову, что жить под православным Русским царством хуже турецкого мучительства.

– У черкас все казацкие старшины с червоточинкой, тянутся к ляшскому безурядью, им либерум вето подавай, а у нас этого нет, и царь у нас природный, а не выборный со стороны, – сказал Прозоровский. – Его воле не смеет перечить ни один шляхтич, а на польском сейме один ничтожный дворяник может воспрепятствовать всему благородному сословию и королю принять нужное решение.

– Если бы только от одних черкас нашему царству беда была, – промолвил Ордин-Нащёкин. – Иной раз и свой брат, русский, такое учудит, что и всем миром с ним не сладить. Как там, Юрий, поживает и что поделявает наш первоходатай пред Божьим престолом за всех православных людей святейший патриарх Никон?

– Недавно своим лжеуродством восхотел преклонить к себе народ, – сказал Никифоров. – Устроил трапезу для странников, сам обмывал им ноги; спрашивал, как будто ничего не зная, заключён ли мир с поляками? Когда ему отвечали, что нет, глубоко вздохнул и сказал: «Святая кровь христианская из-за таких пустяков проливается».

– А что великий государь? Ужели спустил своему собинному другу хулу на царство? – возмущённо произнёс Прозоровский.

– По докладу дьяка Приказа тайных дел Башмакова, – с большой важностью сообщил Никифоров, – за свои поносные речи патриарх Никон в сей же день был из Москвы выслан.

Гришка как попал в руки стрельцов, так они от него не отступали, привязали, как телка на пастьбе, к берёзовому колу и стали над ним измывать угрозами и непотребной бранью. Эта дружная ненависть потрясла Гришку своей беспричинностью: он никогда не обижал стрельцов, когда они были у него в подчинении, совсем недавно похристовался почти с каждым в Светлый

день, а с капитаном Репиным похристовался дважды: сначала на утрене, потом в своей палатке доброй чаркой водки с перцем.

Теперь Репин и узнавать не захотел опального подьячего, а стрельцы с его молчаливого согласия обступили Гришку и начали шпынять. Конечно, на Руси радоваться чужой беде – не новость, но изначально человек ждёт себе от одноплеменников добра и бывает весьма крепко потрясён, столкнувшись с людским злорадством.

Поначалу Котошихин попытался урезонить своих обидчиков:

– Зачем, ребята, надо мной измываетесь? Я ведь такой же православный или не так?

Стрельцы от таких простецких вопросов ненадолго опешили, но опять приступили к нему с издёвками.

– Гришка, а правда, что у подьячего вместо души дырка от осинового сучка?

– А на что ему душа? Подьячему на том свете везде дорога: умрёт и прямо в диаволы.

– Подьячий любит принос горячий! Вот и мы ему батога припасли погорячее.

Котошихин дёрнулся на привязи и привстал с земли, пылая обидой.

– Вы совсем не имеете жалости, – горько вымолвил он. – А ведь не проходит и дня, чтобы кого-нибудь из стрельцов не били в батоги.

Обидчики смутились, но ненадолго:

– Нас не бьют, а за нашу удаль жалуют батогами. Тебе, приказному крючку, такой молодецкой жизни не увидеть. Наша смерть в чистом поле, а твоя в вонючем приказном подвале!

Принесли вязанки тальниковых прутьев, и стрельцы развеселились ещё пуще, стали спорить друг с другом за честь прогуляться по подьячей спине, взялись тянуть жребия, и счастливые посматривали на Гришку с такой явной кровожадностью, что у подьячего от страха стало ёкать сердце и подкосились ноги. Стрельцы почти до полусмерти застращали Котошихина, пока не явился дьяк Юрьев и не заслони́л его собой от проказников.

– Что ж ты, Иван, позволяешь мучить парня, – с горечью произнёс Юрьев. – Твои лоботрясы не ведают жалости, а это ведь тоже смертный грех.

– Откуда им, Ефим Родионович, знать, где грех, а где счастье. А на подьячего они злы, потому что ему завидуют.

– А кто ж им в детстве запрещал учить грамоту? Гришка на письме спор, свейский язык постигает самоукой. А стрельцы до сих пор занятие себе видят в том, чтобы гонять голубей да свайку в кольцо кидать. Ты убери его, Иван, от глаз чужих куда-нибудь подальше.

– Куда ж его спрятать? – почесал затылок Репнин. – Может, в яму, она пока пустая?

Юрьев с участием посмотрел на бледного Котошихина и потянул его за рукав.

– Пойдём, Гриша, в яму. Посидишь там, а от стрельцов оборонять тебя станут мои люди.

Яма была открыта, и в неё опущена берёзовая лестница. Гришка заглянул и, отшатнувшись, жалобно всхлипнул.

– Полежай, Гриша, – успокаивающе молвил дьяк. – Там и солома есть. Если сможешь, поспи. Только не тоскуй, тоска сушит душу. А о битье не горюй: на Руси за битого двух небитых дают.

Через дыры в веточном покрытии в яму просачивались брызги солнца, пахло сухой землёй и соломой, Котошихин прилёг на неё и закрыл глаза. Неожиданность, с которой обрушилась на него беда, особенно то, что он провинился перед самим царём, потрясла его душу, как будто она уже низвергнулась в ад при своём живом владельце. Хула на государя, в каком бы виде она ни была выражена, пусть даже это всего лишь незлоумышленная описка, не могла быть прощена, и отныне никогда не бывать ему в дьяках, о чём он мечтал с тех пор, как впервые окунул гусиное перо в чернильницу. Но теперь он сам поставил на далеко не исписанный лист своей жизни огромную кляксу, которую нельзя было ни смыть, ни соскоблить.

Однако эти мысли недолго занимали Котошихина, битьё палками было гораздо ближе, и с ужасом припомнилось, что не далее прошлого года ему пришлось видеть, как возле Посольского приказа били в батоги кабацкого приказчика из Костромской чети за утрату казённых денег. Приказчик был дикого нрава и надерзил дьяку Алмазу, и тот велел приставам спустить с него шкуру, что те и сделали, обратили спину и ягодицы в сплошное, обильно сочащееся кровавое месиво. Приказчик сгоряча соскочил после битья со скамьи, но через несколько шагов рухнул замертво наземь.

– А ведь стрельцы меня могут также забить насмерть! – с ужасом подумал Котошихин. – Или я умру сам от разрыва сердца.

Мысль о скорой и неизбежной смерти обварила его как кипятком. Он заюзгал на соломе ногами и заскулил, как щенок, которого несут в рогожном куле, чтобы утопить в проруби. Вдруг Гришка решил, что умрёт не от палок, а от разрыва сердца, которое он обычно не ощущал, но сейчас чувствовал, как оно ёкает то и дело от страха и толкается в грудь частыми и гулкими толчками. Он плохо выносил боль, страшился её не меньше

смерти и некстати вспомнил о том, как ему невыносимо больно было в лапищах зубодёра, а под батогами будет не слаще, стрельцы раззадорились и не станут его миловать, поломают об его спину все палки, что припасли для битья.

Внезапно в яме стало светло. Гришка поднял голову, над ямой склонился хмурый стрелец.

– Вылезай, голубь!

Гришка, опираясь на земляную стенку ямы, поднялся, шагнул к лестнице и повалился на солону.

– Что копаешься! – рыкнул стрелец. – Сейчас на кулаках подыму!

– Ноги не держат, – слабо вякнул Гришка, зыбко надеясь, что стрельцы, увидев его немощь, оставят в покое.

Стрелец заворчал и неожиданно спрыгнул вниз. Гришка прижался к стене и ухватился руками за лестницу.

– Ах, ты ещё растопырился! – озлился стрелец и, схватив подъячего за пояс, выбросил его вместе с лестницей из ямы. Там его подхватили дюжие руки стрельцов и, не давая ему ступить на землю, донесли до жердевой лавки, на которую и бросили, предварительно освободив от лишней одежды. На ноги ему с размаху уселся грузный стрелец, а двое других схватили за руки и связали их под жердями.

– Разреши, Ефим Родионович, начать? – сказал Репнин.

– Приступайте с богом! – махнул рукой дьяк. – Но сильно не усердствуйте.

Двое стрельцов, стоявшие с обеих сторон лавки, взмахнули палками и резко опустили их на белое тело подъячего. Гришка испустил истошный вопль, который на мгновение остановил следующий удар палок, и больше он уже не прерывался до конца казни, превратившись в вой существа, лишённого человеческого разума.

Этот шум изрядно помешал беседе, которую вели за чарками с доброй польской водкой князь Прозоровский и пан Цыбульский, без промедления явившийся за щенком от русской борзой по зову великого посла.

Гость был человеком воспитанным и попытался не подавать вида, что его душу поражают дикие вопли, но взятую в руку чарку поставил на стол и потупился.

– Погодите чуток, пан Цыбульский, это не долго, – добродушно промолвил Прозоровский и потянулся рукой к щенку, который старался высунуться из стоявшей на столе корзины. – Кажется, вам повезло с выбором: щеня не пугается шума и весьма подвижно.

– Это воистину бесценный подарок, князь, – встряхнулся Цыбульский. – Я давно жажду иметь охоту с русскими борзыми и, кажется, уже близок к своему счастью. Теперь бы я хотел иметь кобелька.

Прозоровский, смутив гостя, уставился на него в упор, но скоро черты его лица смягчились, и он расхохотался:

– Признайся, пан Цыбульский, что ты желаешь долгих переговоров России и Швеции, чтобы наполнить свою охоту моими борзыми щенками?

– Упаси бог! – замахал руками Цыбульский. – Ясновельможный князь знает, что мне всё равно, какая будет власть, царская или королевская, только бы она не распугала в моих угодьях зайцев и лис, чтобы мне было где потешиться псовой охотой.

– Вот этим ты мне и люб, пан Цыбульский! – воскликнул, подняв чарку, Прозоровский. – Если бы все поляки были такими, то между нами никогда не было бы вражды.

– 5 –

**Х**отя Котошихин и вопил во всё горло, когда его взяли в батоги, пострадал он не так уж и значительно: стрельцы вопреки его опасениям и своим угрозам били Гришку жалеючи, вполсилы, но вогнали его в такой ужас, что он лишился в конце концов чувств. Ушат холодной воды, припасённый для такого случая бывалым капитаном Репиным, вернул его к жизни, и едва подьячий зашевелился, как ему развязали руки, поставили на ноги, набросили на голые плечи одежду и отправили в палатку, чтобы он там отлежался от битья и набрался сил.

Ноги держали Гришку плохо, он покачивался, иногда останавливался возле какого-нибудь дерева и, обняв его, прижимался щекой к жёсткой коре. Подьячий ещё не вполне понял, что с ним произошло, а спросить об этом было не у кого, люди шарахались от него в сторону, даже у самых наглых растерзанный вид Гришки вызывал страх, что и с ними в любой час может произойти точно то же самое. Котошихин был отзывчив и не скупился на добро людям, но все это вмиг забыли, и только старший повар, зайдя от кухни, как подьячий после битья, шатаясь, обнимается с берёзами, из посольского котла налил малый котелок говяжьей юшки, положил в неё большой кус мяса и отправил повара в подьяческую палатку.

На счастье, Гришку встретил его сожитель, ста-

рый подьячий Певунов, и помог ему дотащиться до постели, на которую Котошихин рухнул ничком и ненадолго впал в беспамятство. Очнувшись от того, что Певунов где-то исхлопотал холщовую простынку, намочил её в холодной воде, слегка отжал и положил ему на спину.

– Что, Гришка, тяжко?

– Спина горит, будто на ней огнище разложили, – глухо ответил Котошихин в подушку. – Что там у меня?

– Взбухла и покраснела. Потерпи чуток, я занозы повытаскиваю. Не горюй, Гришка, через дней десять как на собаке всё заживёт.

Утешение старого подьячего не ободрило Котошихина, а напомнило о казни, и он всхлипнул.

– Что не ладно? – обеспокоился Певунов.

– Всё! – мрачно произнёс Гришка. – Ведомо мне, что после батогов ладу в моей жизни больше не будет.

– Эх, да ты никак в обиде? – укоризненно вымолвил Певунов. – И на кого? На царя, брат, как на Бога, обижаться великий грех. И для тебя будет счастье. Вот, кстати, и поварёнок явился с котелком мясной юшки. Не горюй, Гришка, и счастье с каждым днём будет тебе прибывать и прибывать.

– Как бы не захлебнуться им, – проворчал Котошихин, но котелок подтянул к себе, извернулся и испил мясного отвара.

Выздоровливал он медленно и странно: хотя кожа на спине зарубцевалась и срослась за две недели, Гришка с опаской приглядывался к себе, потому что палочное битё перекорёжило его насквозь, и он всё чаще вспоминал слова дьяка Алмаза, который как-то в сердцах ему выговорил:

– Пёстрая у тебя, Гришка, натура, и даже углядеть невозможно, какой ты на самом деле, то ли чёрный, то ли белый, то ли серо-буро-малиновый?

«А какой я сейчас? – отвечал он мысленно дьяку Алмазу. – От батогов я белым не стал, а ещё пуще испестрился. Раньше я добра не чурался и зла не сторонился, жил как жилось, а теперь я без оглядки и шага не сделаю; без худа добра не бывает, вот и меня научили, как следует жить на Москве. Бог свои люди строит, их не спрашивая. И нечего мне на него гневаться за мою пестроту».

Через неделю после битья Котошихин явился в подьяческую палатку, где дьяки Дохтуров и Юрьев сразу запрягли его в работу, и Гришка их скоро удивил своим рвением и невиданным ранее послушанием и терпением. Дьяки решили, что палочное битё пошло ему на пользу, и скоро сие

стало ведомо великим послам, которые восприняли это известие как подтверждение глубокомысленной истины, что за одного битого двух небитых дают и в убытке от этого не бывают. И когда у Ордин-Нащёкина появилась нужда в верном человеке, который бы знал шведский язык, то Гришка был востребован для посылок к шведским послам с письмами.

Осенью 1660 года он дважды побывал в Ревеле с грамотами, в которых шведские дипломаты настойчиво приглашались в Москву для спешного заключения мирного договора. Однако шведы и не подумали трогаться с места, у них на руках были все козыри, чтобы заставить русских выполнить условия, которые во многом звучали как ультиматум, и Котошихин вновь направляется в Ревель, на этот раз он доставил шведскому генералу Бенгт Горну письмо от Ордин-Нащёкина, но видимых сдвигов в отношениях между посольствами не произошло до марта 1661 года.

К этому времени Афанасий Лаврентиевич был из великих послов уволен, что было на руку шведам, которые в общении с Ордин-Нащёкиным почти всегда попадали в подготовленную им ловушку, но реальное соотношение сил между Швецией и Россией было таким, что даже усилия лучшего русского дипломата вряд ли могли привести к успеху на переговорах.

В конце концов съезд послов было решено устроить в Кардиссе, деревушке между Ревелем и Дерптом, возле которой высокие договаривающиеся стороны разбили свои станы, а между ними шатры для проведения съездов.

В середине апреля была доставлена великим послам отписка Алексея Михайловича с грозным напоминанием, что мир должен быть заключён немедленно, и Прозоровскому было разрешено отсутствовать в своих требованиях, но не далее условий Столбовского мира. Через несколько месяцев мир был заключён, посольство вернулось в Москву, а вскоре Котошихин был послан в Стокгольм с важным государевым поручением.

Дорога на шведскую сторону была Котошихину хорошо известна, и он без задержек прибыл на пограничный переход близ Нарвы.

Новый рубеж едва начали обустроить, первой срубили почтовую избу, где обосновался подьячий, который отвечал за получение дипломатических депеш из западных стран и отправку их с нарочными в Москву. Котошихина он знал по его прежним поездкам за границу, и в подорожную грамоту, где на двух языках, шведском и русском, было прописано, куда го-

сударев гонец следует и сколько людей для своей охраны имеет, подьячий едва заглянул, а вызвал трубача и велел ему трубить что есть мочи на шведскую сторону.

И скоро до русских донеслись ответные звуки, услышав которые почтовый начальник велел своим людям садиться на коней, чтобы сопроводить государева гонца, сдать его шведам и получить от них заверения, что с ним не случится какого-нибудь худа.

Встреча произошла на берегах узкого и сонно текущего ручья, который был рубежом между странами. Шведы явились, как и русские, без оружия и с любопытством вылаживали тех, кто направляется к ним в гости. Королевский поручик взял переданную ему подорожную грамоту царского гонца, вычитал её на два раза, оглядел Котошихина и его сопровождение и съехался с русским пограничным подьячим. Они вынули из кожаных сумок тетради и расписались друг у друга в том, что сего дня был совершен переезд границы и они это подтверждают.

Застегнув кожаную сумку, поручик приглашающе махнул рукой Котошихину, и в это время оба трубача вострубили так громко, что плохо объезженный конь царской конюшни, что был под Котошихиным, взбрыкнул, но Гришка его твёрдой рукой успокоил и направил в ручей, который жеребец преодолел одним скоком и вымахнул на берег, оставив за собой сорванный копытами дёрн.

Швед произнёс заранее заготовленную приветственную речь. Котошихин ответил ему на его языке, чем удивил поручика, который с трудом поверил, что скифу доступна речь викингов, и он благожелательно оскалился и в ответ получил ухмылку москвитя, в которой можно было узреть всё что угодно, но только не радость нечаянной встречи.

Дьяк Алмаз Иванов велел Гришке не дремать в седле и, въехав на шведскую сторону, зорко смотреть и примечать, сколько встретится воинских людей, пушек, какие работы ведутся в Нарвской крепости, что за корабли и чьих стран пребывают в гавани. Указание посольского дьяка было Котошихину не в тягость, он и без его подсказки всегда норовил всё высмотреть, что есть любопытно за чужим забором и нельзя ли этим как-нибудь попользоваться, и по дороге в Нарву вертел головой из стороны в сторону, но так ничего путного и не углядел, кроме того, что чухонки не в пример титястее русских баб, и у него загорелось удостовериться в этом своими руками, но случилось сие явно не ко времени.

Нарва была всего в нескольких верстах от границы, и скоро они увидели предместье, а над ним высокие каменные стены крепости, в которой находился шведский город: ратуша с трепещущим наверху знаменем, каменные избы купцов, такие же амбары и казармы для солдат. Гришка всё это высмотреть не успел, как оказался на крыльце губернаторской каменной хоромины с островерхой крышей и стрельчатыми узкими окнами.

– Его превосходительство губернатор Якоб Таубе приветствует гонца великого государя Малыя и Белья, и Великия России! – напыщенно произнёс встретивший Котошихина лёгким поклоном шведский чиновник. – И приглашает его в свои хоромы на аудиенцию.

Столь торжественная встреча смутила Гришку, и он забыл, что ему следует говорить в ответном слове. Бывалый швед понял его состояние и лёгким движением руки указал на дверь.

Клацая подкованными сапогами по гранитному полу, Котошихин вошёл в небольшой зал и чуть не натолкнулся на железного мужика, который стоял, подпирая покрытой железным шлемом головой дубовую балку потолочного покрытия. «Кукла!» – сообразил Гришка и безбоязненно прошёл в более обширный зал, где, несмотря на августовское тепло, топилась большая печь и в распахнутом, без дверей, зеве на поленьях приплясывало пламя, отражаясь красноватыми бликами на бледном лице нарвского губернатора.

Якоб Таубе был одет в приталенный с просторными рукавами камзол, отороченный кружевным воротником, на ногах у него были башмаки с серебряными пряжками, тощий зад, худые бедра и икры обтягивали вязанные из тонкой шерсти штаны.

Губернатор повернулся к гонцу русского царя, и его гладко выбритое лицо озарила дружеская улыбка, а глаза залучились неподдельным интересом к гостю. Пока Гришка раздумывал, что бы ему сказать значительное и заковыристое, дабы подчеркнуть важность возложенного на него государственного поручения, Якоб Таубе, не чинясь, легко приблизился к нему и протянул для рукопожатия узкую и твёрдую, как дерево, ладонь.

– Со счастливым прибытием, господин Котошихин, – ясно выговаривая русские слова, произнёс губернатор. – В ногах правды нет, как говорят московиты, посему прошу к столу.

Гришка обомлел от такого обращения шведского боярина к своей подьяческой особе, он робко глянул на губернатора, не изволил ли тот пошутить, но встретил тёплый участливый взгляд, который вмиг согрел его озябшую от насто-

женности душу обещанием чего-то радостного и сладкого, что не замедлило явиться на столе в виде двух штофов с длинными узкими горлышками, хрустальными чарками, блюдами, наполненными призывно пахнущими кусками мяса и рыбы и засахаренными яблоками и грушами. Гришка сделал несколько шагов, и вдруг в его ушах отчётливо прозвучал голос дьяка Алмаза: «А буде свеи делать тебе подарки, а тем паче усаживать за стол с хмельным и сладким, то беги от немецкой сладости сломя голову и ведай, что лютеры коварны и добры к православным лишь для того, чтобы охмурить их и сверзить в воровство во вред своему Отечеству».

Якоб Таубе заметил, что гость вздрагивает и начинает замедлять шаги, и легонько начал его подталкивать к столу, но тут произошло то, что сокрушило оборону упрямого московита: из другого зала появилась белолицая в бирюзовом одеянии девка и, поддерживая пухлыми ручками подол, жеманно присела в поклоне, учтиво пожелав Гришке доброго здоровья.

– Это моя племянница Марта, – подтолкнул его губернатор. – Она весьма любопытна и упростила меня познакомить с московитом, чтобы ей было что рассказать по приезде домой.

Перед глазами Котошихина опять мелькнул грозный образ дьяка Алмаза, он беспомощно глянул на Марту, а та улыбнулась ему в ответ, и в её глазах зажглись шаловливые искорки. Он стал подыскивать в памяти подходящие шведские слова, чтобы уклониться от расспросов, но явившийся лакей подsunул ему под колени стул, и Котошихин упал на него седалищем. Якоб Таубе и Марта разместились на другой стороне стола, слуга наполнил бокалы вином и бесшумно удалился.

Гришка изрядно проголодался, но старался вести себя за столом чинно и довольно удачно повторял то, что делал Якоб Таубе: оставил в бокале недопитое вино, мясо брал двузубой вилкой, старался не чавкать и не ронять на белую скатерть крошки и объедки. Марта вкушала хлеб и мясо маленькими, нарезанными ножом кусочками и пока не проявляла внимания к гостю, но тот не забыл, что сейчас ему опасен не губернатор, а девка, которая явилась сюда с явным намерением сделать ему дурно.

– Дядюшка мне поведал, что все московиты исповедуют веру в Христа, – осторожно промолвила Марта.

– Истинно так, – сказал Котошихин. – Русские все христиане, мы исповедуем православную апостольскую веру.

– Но если вы христиане, тогда почему своих женщин держите взаперти и не даёте им воли ходить где им вздумается. Этим вы не отличаетесь от татар и турок.

Гришка поперхнулся куском мяса и, покраснев до корней волос, беспомощно взглянул на хозяйна, а тот, постучав легонько ножом по глиняной тарелке, назидательно промолвил:

– Московиты живут по своим законам, хороши они или плохи, решать им самим.

Котошихин перевёл дух, но Марта не угомони-лась, а продолжала цепляться к нему то с одним, то с несколькими каверзными вопросами, от большинства из них он отмыкивался, и за него обстоятельно отвечал губернатор, весьма удививший посольского подьячего разумными суждениями о России. Гришка невольно сравнил это с теми дурацкими мнениями о шведах, которые ему приходилось слышать от высоких думных чинов на Москве, и сравнение это было в пользу Якоба Таубе, который о русских судил здраво, даже с явным сочувствием к их нелёгкой судьбе жить среди лесов и болот под властью враждебных народу царей и бояр. Гость внимательно к этим словам прислушивался, но полного согласия с ними не испытывал, что-то, при всей их правдивости, царапало его душу, возможно, это была обида на тех, кто сумел устроить свою жизнь без русского безурядья, а поделиться секретом, как это сделать, с другими не спешит и оставил себе в вечное удовольствие насмеяться над неповоротливыми восточными соседями, отталкивая их от побережья Балтийского моря.

Обед подходил к благополучному завершению, и все остались довольны: Марта тем, что заставила гонца русского царя краснеть и прятать глаза от её настырных расспросов. Гришка был счастлив, что не сморозил чего-нибудь непотребного за губернаторским столом. Якоб Таубе по натуре был философом и любил порассуждать, и это ему вполне удалось сделать перед Котошихиным, который не догадывался, что гостеприимство нарвского хозяина объясняется совсем другими причинами, чем хлебосольство и дипломатические обычаи.

– Я велел снарядить для тебя большую быстходную лодку, – прощаясь с Котошихиным, сказал губернатор. – Впрочем, хозяина лодки ты знаешь: это наш нарвский купец Овчинников.

– 6 –

Кузьма Афанасьевич стоял на крыльце губернаторского дома и встретил Гришку бурным всплеском радости:

– Григорий Карпович! Я уже не чаял с тобой увидаться. Думаю, ну всё – мир нас разлучил на долго.

– А разве ты не собирался с немецкими товарами явиться на Москву? – удивился Котошихин. – Мир всегда купцам на руку.

– Это сказано не про меня, – сказал Овчинников. – Я на Москву не въездной и могу торговать с русскими купцами лишь здесь, в Нарве и других городах, кои определены для торга на побережье.

– Стало быть, тебе от мира не выгода вышла, а утеснение?

– Это как поглядеть, – усмехнулся Овчинников. – Конечно, привези я товары в Москву, я бы взял за них дороже, чем здесь, но во сколько мне станет дорога. Всякие сборы в государеву казну? А воры на Руси разве повывелись?

– Чего-чего, а воров у нас в избытке, – сказал Котошихин. – А ведь мне, Кузьма Афанасьевич, губернатор дал тебя в проводники до Стокгольма.

– Доставлю в лучшем виде. Твои ребята у меня во дворе храпят без задних ног. Веди коня в поводу, в городе тесно живут, и мы скоро будем у меня дома.

Дождь к утру перестал, но на реке стоял густой и влажный туман, в котором большая лодка с мачтой находила путь к морю, повинувшись течению и опытному рулевому. В устье туман начал рассеиваться, порывы ветра стали рвать его на клочья и разносить по сторонам, над лодкой взметнулся парус, и она, причмокивая обшивкой на волнах, понеслась по золотистой дорожке, которую постелило перед ней всходившее за кормой утреннее солнце.

Котошихин и его свита со страхом поглядывали на уходящую из глаз землю, на море они ни разу не бывали, и предложение Овчинникова залечь в спячку приняли с большим желанием, чтобы не видеть вокруг себя наяву огромную всхолмлённую волнами водную пучину, в которой до поры до времени затаилась гибель каждого из них.

На третий день Котошихин уже был в Стокгольме, расположенном в проливе между заливом Сальтшен и озером Меларен, на острове Стаден.

Овчинников поспешил известить шведские власти о прибытии гонца русского царя, а Гришка тем временем готовился к исполнению основной части государева поручения. Вручать грамо-

ту надлежало в кафтане, который уже полдня проветривался на нижней рее мачты, и Котошихин облачился сначала в рубаху с жемчужным воротником, затем в проветренный кафтан, вытащил из куля красную шапку с собольей оторочкой, водрузил её на голову и выступил на нос лодки, чтобы встретить посольских людей Швеции.

Явление русского гонца вызвало у шведов интерес к нему, но они вели себя неназойливо, издали поглядывали на Гришку и переговаривались друг с другом. Котошихин тоже поглядывал вокруг себя на большую вымощенную камнем площадку, каменные дома со стеклянными окнами и черепичными крышами, чудно одетых людей, прибывших сюда со всех концов Европы. Особым потрясением для Гришки стало узреть чёрного человека, который шёл в обнимку с белой жёнкой, а та похохатывала и липла к нему, не страшась его угольной черноты и вывороченных наизнанку красно-синих губ.

Овчинников ушёл, но не потерялся, и к лодке явились две кареты, в которые были запряжены куцехвостые и крутобокие лошадки, доставившие чиновника риксканцелярии советника Кристиана Берга и переводчика Анастасиуса, и русский гонец был приглашён в гостевой дом для отдыха и скорого вручения письма царя канцлеру Швеции Магнусу де ла Гарди.

По пути к посольской резиденции советник Берг взялся расспрашивать Котошихина о том, как ему ехалось, и был приятно удивлён, услышав ответы на вполне сносном шведском языке, без присущего иностранцам комичного акцента. Гришка держался свободно, не выказывал спеси и чванства, и советник попробовал испытать гонца на прочность.

– Не ведомо ли господину Котошихину, – спросил он, – что за нужда вынудила великого государя Алексея Михайловича беспокоиться с посылкой гонца тотчас же после заключения мира?

– Это в грамоте прописано, зачем я послан, – откровенно сообщил Котошихин. – Думаю, затем, чтобы вы поторопились с ратификацией мирного договора.

Простодушие, с каким прозвучал ответ, за который нужно было бы заплатить не одну пригоршню риксдалеров, весьма удивило опытного Берга и заставило задуматься.

В посольском гостевом доме русскому гонцу определили весь верхний этаж, состоявший из зала и трёх спален. Лица, сопровождавшие Котошихина, были помещены на первом этаже.

Советник Берг представил Котошихину управителя гостевого дома и, сказав, что канцлер

примет русского гонца без всякой задержки, отбыл в риксканцелярию.

Не прошло и двух часов, как он возвратился в богато изукрашенной карете, которую сопровождали пять конных латников.

Бережливые шведы считали великой глупостью тратить на пышные и бессмысленные дипломатические ритуалы, они предпочитали не пускать пыль в глаза противникам своим богатством и показной мощью, а каждый риксдалер вкладывали в производство лучших в Европе мушкетов и не уступающих по мореходности английским боевых кораблей. Так же бережно для своей казны они встречали и посольских людей других стран, независимо от их чина. Котошихин, как гонец, был принят канцлером де ла Гарди лишь потому, что грамота великого государя должна была быть вручена в его руки, без посредников, как пока ещё регенту несовершеннолетнего короля Карла XI.

Видевший Золотую палату Московского Кремля, Котошихин был весьма удивлён строгим убранством покоев, в которых его принял канцлер Швеции, слегка поморщившийся от крика, с которым русский гонец объявил титулы великого государя и свейского короля. Затем Котошихин вручил с поклоном грамоту царя, и ему было сказано, что ответ он получит не позднее сегодняшнего вечера, с тем чтобы завтра гонец отбыл в Нарву на одном из самых быстроходных посыльных судов королевского флота.

В гостиный дом Котошихин прибыл в сопровождении двух приставов Коллегии иностранных дел, которые объявили о пожалованиях русских гостей. Самый ценный подарок получил царский гонец – два серебряных бокала, весившие по-современному счёту более трёх килограммов. Ценные подарки получили и другие участники дипломатического вояжа.

Королевский подарок привёл Котошихина в приподнятое расположение духа, и он благожелательно встретил явившегося к нему с каким-то важным шведом купца Овчинникова.

– Рекомендую, Григорий Карпович, своего давнего и задушевного друга советника Адольфа Эберса, – проникновенно вымолвил Овчинников. – Он сердечно расположен к России и всем русским людям. Знает, что между шведов большая редкость наш язык, и смеётся над теми, кто уверяет, что в Кремле разгуливают медведи.

Эберс был из породы тех людей, которые не могут не нравиться: стройный белокурый красавец, он для своей должности резидента шведского короля в сопредельных государствах обладал счаст-

ливой способностью внушать всем самое положительное о себе мнение, хотя это не соответствовало ни роду его занятий, ни способам, к которым он прибегал для достижения нужной ему цели.

Пока Эберс и Котошихин знакомились и приглядывались друг к другу, в зал вошёл управитель дома и поставил на стол оплетённую сухой виноградной лозой бутылку вина и широкое блюдо с большими красными яблоками.

– Вино, не скрою, итальянское, а яблоки наши, шведские, – сказал Эберс. – Надеюсь, наше малюсенькое пированьице не принесёт заботу гонцу и дьяк Алмаз Иванов не проведает об этом.

– У дьяка Алмаза я в уважении, – спесиво промолвил Котошихин. – Мы поднимем чарки стоя, а в таком разе какой же это пир?

– Умно, очень умно подмечено, – улыбнулся Эберс. – А вы, господин Котошихин, часто бываете в посылках гонцом?

– Он, господин советник, в Посольском приказе числится одним из лучших подьячих, – вмешался в беседу Овчинников. – Слогательность его письма сам Ордин-Нащёкин ставит другим подьячим в образец.

– Вот как! – воскликнул Эберс. – Я уже бывал на Москве, возможно, буду там снова, и, надеюсь, господин Котошихин покажет мне образцы правильного русского письма.

– Это как дьяк Алмаз поволит, – сказал Гришка. – За мной дело не станет.

– Нет, дьяк не разрешит нам даже переглянуться, – с сожалением промолвил Эберс. – Меня всегда удивляло вредное для государства правило Москвы держать всех своих людей на привязи. От этого она многим проигрывает нам, потому что не знает настоящей торговли и ремесла, все наши новинки до Москвы доходят с большим опозданием. А не держи она своих людей, они, побывав в других странах, возвращались бы домой, обогащённые нашими знаниями, и приносили бы большую пользу. Или это невозможно?

Адольф Эберс, как истинный европеец, толковал о московских делах, не беря в свой толк, что Русь не устоялась как целостное государство, она была ещё нетверда в своих основаниях, само устройство её предполагало, что в нём не должно быть беспривязных людей, все были привязаны друг к другу: крестьянин содержал помещика, который должен был служить государю, церковные люди служили Богу, купцы тоже служили – государевыми целовальниками и приказчиками, бесхозными были гулящие людишки, но вряд ли немцы стали бы рады, если бы эта гилья заявила к ним по своей воле.

Всё это Котошихину было известно и вызывало в нём душевное неудовольствие, поэтому вопрос Эберса он оставил без ответа, а Овчинников, воспользовавшись заминкой, напомнил шведу о том, зачем он сюда явился.

– О, да! – спохватился Эберс. – У меня к вам, Григорий Карпович, есть личное дельце. В Москве пребывает по торговым делам мой товарищ. Условия, по которым мы заключили договор на покупку пеньки, изменились, и мне нужно срочно его о сем известить. Ваша услуга будет достойно оплачена.

И на столе перед Гришкой появился кожаный кошелек с явно немалым числом риксдалеров. Ввиду такого солидного довода отказа со стороны Котошихина не последовало, Эберс умно закрепил негласное соглашение на сотрудничество с посольским подьячим своим поспешным уходом.

– Не забывайте меня, Григорий Карпович! – сказал Эберс, с чувством пожимая Котошихину руку. – Мы обязательно увидимся.

– 7 –

**В** Стокгольме, совершенно неожиданно для него, Котошихин крепко обогатился и возвращался в Москву в приподнятом настроении, которому не мешало даже явное преступление, кое он совершил, согласившись доставить тайное послание от Эберса его торговому товарищу. Котошихин не был так глуп, чтобы не понимать пагубность своего деяния, но он впервые почувствовал сладость, которую испытывает человек, рискуя собой по собственной воле. Он открыл для себя, что в жизни есть игры поазартнее швыряния кубика с зёрнышками белых отметин на его сторонах, игры в «зернь», которой предавалось до умопомрачения множество русских людишек. Сладостнее и азартнее нет той игры, где человек ставит на кон самого себя, и Котошихин сделал это, согласившись передать тайное послание, и уже не сожалел, только время от времени ощупывал шею, не сорвался ли с неё ремешок, на котором в суконном мешочке висела грамотка советника шведской иностранной коллегии Адольфа Эберса.

Прибыв на быстрой лодке в Нарву, Котошихин в ней не задержался и пустился на верховых в Москву, вгоня ямских приказчиков в трепет своими зубодробительными повадками бывшего царского гонца в требования немедленно предоставить свежих коней под него самого и охрану, которой самой не терпелось поучить ямских

людишек дюжими тумачами и пинками. С такой ревностью к посольской службе Гришка в несколько дней добрался до Москвы, на последнем стане умыл забрызганное грязью лицо, отряс одежду, сполоснул в луже сапоги и скорой рысью домчался до Посольского приказа.

Думный дьяк не замешкался и велел Гришке из приказа не уходить, а сам поспешил в покои великого государя с докладом.

– И каков же свейский ответ? – спросил Алексей Михайлович, разглядывая выписанных на краях королевской грамоты золотом диковинных птиц и зверей.

– Шведы верны своей привычке затягивать любое дело и с ратификацией договора торопиться не собираются.

– Ты догадываешься, Алмаз, с каким требованием они привяжутся на этот раз? – сказал великий государь, кладя грамоту на столец, изукрашенный слоновой костью.

– Потребуют деньги за корельских людишек, что ушли от них на нашу сторону.

– И много ль захотят взять?

– Запросят никак не меньше пятиста тысяч рублей, – вздохнув, ответил Алмаз. – Мы сами, к несчастью, называли такую сумму на переговорах в Кардиссе.

– В этой промашке я виноват, – кротко промолвил Алексей Михайлович. – Торопился приманить шведов к миру и ляпнул сглупа про такую уйму деньжищ. А сейчас вижу, что мир нужнее им, чем нам. Разве не так?

– Истинно так, – дьяк склонился в поклоне.

– Вот и я мыслю, – продолжил Алексей Михайлович, – что шведы, имея всю русскую сторону Балтийского моря, должны понимать тщетность войны с нами. Допустим, отнимут они у нас ещё с десяток деревень, но Псков им не взять. Посему, не торопясь, отпиши им, чтобы присылали на Москву своего переговорщика. А ты, Алмаз, проследи, чтобы его везли неспешно, в каждом городке подольше держали, угощали, не торопились показать Москву.

– Ответную грамоту послать с гонцом?

– Не много ли чести будет? – сказал великий государь. – Не стоит нашим людям лишний раз по зарубежьям мотаться без нужной на то необходимости. А кто на сей раз в Швецию бегал?

– Подьячий Гришка Котошихин, – осторожно вымолвил Алмаз.

– Котошихин ... – царь задумался. – Как же, помню умалителя моего титула. Ты, Алмаз, его больше к немцам не посылай... Он – грамотей, а все грамотеи не в меру обидчивы. Ордин-Нащё-

кин повелел взять своего сына в батоги, и Войка убежал в Польшу, и этот подьячий тоже бит батогами, как бы он, Алмазко, да по своей обиде нам дурна не сотворил.

– Я готов от него избавиться, – сказал дьяк. – Но Котошихин весьма знающ, слогателен в письме, твёрдо знает свейскую речь...

– Тогда его надо приласкать, – решил Алексей Михайлович. – Не волк же он, чтобы всё время в лес поглядывать. Объяви подьячему мою милость и то, что ему вполчину, против прежнего, увеличен оклад и определена выплата хлебных денег по должности. Он какой у тебя подьячий?

– Молодший, – сказал Алмаз.

– Если не провинится, представь его на утверждение в средние подьячие. А теперь вернёмся к нашим любимым ляхам...

Алмаз Иванов задерживался. В комнату, где находился Котошихин, иногда заглядывали и заходили подьячие по своим делам к дьяку приказа. Однако, увидев, что Алмаза нет, коротко здоровались с Гришкой и уходили. Они Гришку не любили: одни из-за его способности почти всегда быть первым в письменных делах и многознания, другие из-за неприязни, которую Котошихин испытывал к людям недалёким, но хитрым и проницательным. Из всего приказа он общался только с Мишкой Прокофьевым, подьячим одного с ним «немецкого» стола, где были все европейские дела.

– Как съездилось? – спросил Мишка, хлопая Котошихина по плечу.

– Жив помалу, можно было и лучше, да по нашим грехам и это счастье. А на меня тут ничего худого не прибыло?

– Нет, всё тихо, нашу братию занимает другое.

– Разве у них есть другой интерес, кроме пересудов.

– Ждут от великого государя указа на ежемесячную выдачу хлебных денег. Но ты, вестимо, разбогател, тебе наши гроши не нужны после королевских даров.

И Мишка легонько пнул лежавший на полу куль с Гришкиными вещами.

– Туго набил, под самую завязку. Не пора ли и службу кабаку совершить, чтобы деньги не переводились?

– Я давненько не молебничал в кабаке, – засмеялся Гришка. – Вот с дьяком разочтусь за Стокгольм и шумну тебя, когда в горле пересохнет.

Алмаз Иванов явился от царя, когда уже стало смеркаться, а у Гришки с голодухи начало что-то

подрагивать в брюхе. Он поднялся со скамьи и выжидательно уставился на дьяка.

– Вот, Гришка, гляди на свечу и до того, как она мигнёт, объяви, в чём ты переступил присягу, будучи в Стокгольме. Позже этого срока помилования тебе не будет.

Котошихин унял начавшуюся у него в брюхе трясучку и, выпучив очи, побожился, что чист и никакого дурна против государя не замышлял, чужое платье на себя не напяливал, посулов от врагов православия не принимал, о делах приказа ни с кем не беседовал.

– Не привёз ли ты из Швеции чего-нибудь зловредного, вроде еретической книжки о коловращении земли вокруг солнца, брехни гадальщика Настродамуса или какого-нибудь колдовского зелья, на кое немцы были всегда горазды? – грозно спросил Алмаз.

– У меня и лишнего часа не было, – пролепетал Гришка. – Я в Стокгольме всего одну ночь переспал и побежал на лодке к Нарве. Я, кроме шведских приставов, никого не видел.

– Свиныя грязи везде найдёт, – мудро произнёс дьяк. – С этого часа твой оклад повышен наполовину, получи семь рублей хлебных денег, это всё от великого государя.

Гришка упал на колени и ткнулся лбом в пол.

– От меня тебе воля не ходить в приказ до Покрова.

Котошихин ещё раз ткнулся лбом в пол рядом с грязным сапогом дьяка, затем получил деньги и отправился на лёгких от счастья ногах к семье, о которой вспомнил впервые за всё время своего отсутствия только сейчас, выйдя из приказной избы.

Сумерки сгущались, и Гришка поспешил поскорее добраться до дома, в темноте московские улицы были смертельно опасны для одиноких и беспечных прохожих: на промысел выходили воры, которые днём имели вид боярских и дворянских дворовых людей, ночью многие улицы перекрывались рогатками, и сторожившие их караульщики бывали порой опаснее лихих людей.

Гришка не стал стучать в ворота и, перебросив через забор куль с вещами, перелез за ним сам. Кругом не было ни проблеска света, и он на ощупь нашёл дверь избы и бухнул в неё ногой. Старый пес Облай наконец-то проснулся и закурился подле хозяина.

– Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! – громко проговорил Гришка, чтобы домочадцы не испугались неожиданного ночного прихода.

Ответом ему было лёгкое шебаршение за дверью, затем раздался голос жены:

– Аминь!

Вдоль косяка прорезалась полоска света, дверь медленно приоткрылась, и Устинья с радостными слезами кинулась мужу на грудь.

– погоди, куль скину с плеча, тогда и обнимемся, – пробормотал Гришка, проталкиваясь в избу, где попыхивала свеча и с лавки посверкивали глазами на отца сыновья.

– Я ведь не ведала, Гришенька, что ты явишься, и ничего не припасла для твоей встречи, – виновато сказала Устинья. – Есть два сухаря и выветренный окунь.

– Хорош бы я был, если явился бы домой без гостинцев, – весело улыбнулся Гришка и, развязав куль, вынул оттуда мешок, из которого выложил на стол снедь и сладости, купленные им по выходе из приказа в харчевне, где обычно столонвались посольские люди.

От трапезы отказчиков не было, и семейство Котошихина умяло мясной пирог, сваренную целиком курицу и пирожки с медовой начинкой.

– Вот теперь можно и ночь пробедовать наравне с голодным, – довольно похлопывая себя по брюху, сказал Гришка. – Пора и на боковую, а то от сыти сон сам в глаза лезет.

Выйдя на рассвете из избы, Котошихин оглядел своё подворье, содрогнулся от его убогости и отправился в Земский приказ, слабо надеясь, что дело об изъятии у него в казну подворья, заведённое на его отца за подпольную торговлю табачным зельем, благоприятно для него пересмотрено, но оказалось, что там ещё и конь не валялся, о чём ему и сообщил найденный Гришкой в сумрачных недрах приказа его доброжелатель – подьячий Есин.

– Но не всё так уж плохо, – сказал он. – Проверка монастырской казны обнаружила недостачу всего пяти алтын денег.

– Стало быть, мой родитель невиновен! – обрадовался Гришка.

– погоди трепыхаться, до счастья ещё неблизко. Приказная улика едет, но когда она будет там, где тебе надо? – знающе промолвил Есин. – Нужна рука, чтобы её подтолкнуть.

– Я могу ударить челом дьяку Алмазу, – нашёл выход Котошихин.

– А вот этого не делай. Судья по твоему делу – Елизаров – думный дворянин и с дьячим семенем, хотя оно и тоже думское, якшаться не захочет.

– Что же тогда делать? Посоветуй, брат, я тебя пожалуйю пожертвованием на службу кабаку.

– Елизаров, как и все, страшится только Приказа тайных дел. Вот если бы оттуда ему было сказано доброе про тебя слово, то всё решилось бы в твою пользу без проволочек.

– Да как тебе в башку могло такое втемяшиться! – осерчал Гришка. – Подьячие Тайных дел даром ничего не сделают, как раз запрягут себе в помощь соглядатаем, а в моём приказе как проведут про это, то спуска не дадут.

Сговорившись с Есиным, что тот не забудет про его беду, Гришка без всякой цели пошёл мимо громадных изб приказов, которые размещались впритирку друг к другу вдоль кремлёвской стены.

После долгого в ней отсутствия Москва поражала его своим многолюдьем и разнообразием: по одежде и говору можно было сразу определить, откуда тот или иной человек – из Слободской Украины, с Урала, поморской земли, Поволжья или из коренных, близких к Москве уездов.

В толпе природных русаков нередкость было встретить широкоскулого и узкоглазого калмыка, хищно поглядывающего вокруг кавказца, белолицего карела, прокопчённого дымом цыгана, а уж татары попадались на каждом шагу – и свои мишари, и приезжие из Крыма, поглядывающие вокруг себя с великим сожалением, что нет у них сейчас возможности накинуть аркан на кого-нибудь из москвичей и утащить его в рабство.

Поглядывая вокруг, Гришка не забывал и про свою беду, она нудила его к невесёлым и тягостным размышлениям. «Будь я шведом, – вдруг сделал для себя открытие Котошихин, – живи я под королём, я бы живо нашёл управу на своего обидчика. Очень просто: явился бы в суд, подал иск, и двенадцать моих сограждан живо бы вправили мозги моему гонителю. Там царствует не король Карл XI, а его величество закон, а в каком месте искать его здесь, на Москве? Думный дворянин Прокофий Елизаров по своему месту в Земском приказе сам судья, его одёрнуть сможет только великий государь, но как до него дойти, вон они, его хоромы, не далее как в двух сотнях саженей от сего места, но пути к ним я не знаю».

Возле Монастырского приказа что-то понудило Гришку оглядеться по сторонам, и в толпе попов, диаконов и монахов он углядел знакомого ему сутулого человека, в котором угадал своего родителя.

– Давно ли из Стокгольма явился? – спросил Карп Пантелеевич. – Как там шведы, живы-здоровы?

– Тебе, тятенька, велели кланяться, – усмехнулся Гришка, догадываясь, что дела у отца

по-прежнему нехороши. – Шведы и не знают, что ты своим табачным баловством с сирийским монахом родного сына по миру пустил.

– Эх, Гришенька! – жалобно вздохнул отец. – Знал бы, где упаду, так соломку не извёл бы на растопку. Одна радость, что монаха царь не отдаст в кнутобойный розыск Елизарову, за этим и я хоронюсь. Вот пронесёт беду, и поставим хоромы, лучше, чем были. А пока потерпи.

– Терпя, и камень треснет, – озлился Гришка. – Когда ещё хоромы поставишь, а мне жить сейчас надо. Дай мне раздел сейчас же, не сходя с места.

– А что делить? – поразился отец. – Дом-то в казну взят.

– Вот и бери его себе! – жёстко сказал Гришка. – А мне дай половину от тех хором, которые будут.

– Как их дать, их же нет, – заюлил Карп Пантелеевич, коря себя за то, что обмолвился о своих немалых зажитках сыну.

– Очень просто: отдай мою половину из своего кармана, не сходя с этого места!

– Не говори громко, – испуганно зашептал Карп Пантелеевич. – По правде говоря, мне дома не надо, для монашеского счастья достанет и малой келейки. Ладно, так и быть, отдам я тебе твою половину.

– И когда? – не отставал Гришка. – Ты к себе в монастырь не иди. Выкопай захоронку и ступай ко мне. Лучше мне все зажитки отдай, у меня они целы будут, а тебя, не ровен час, возьмут на дыбу за табачные дела, и всё палачи заберут.

– Что ты за страхи такие говоришь! – отстранился от сына Карп Пантелеевич. – Ступай, куда задумал, а я на днях тебя навещу.

– А вот этого не обещай и не делай! – усмешливо сказал Гришка. – Я сам к тебе явлюсь в келейку за своей половиной.

Утром Гришка даже сухарика не пожевал на дорожку и, расставшись с родителем, почувствовал, как его нутро стало подсасывать, нюх сразу обострился, а ноги сами понесли к харчевням, которые рядом изб стояли неподалеку от приказов и зазывно пованивали вчерашними щами, кои прели и пузырились в кормовых котлах.

Двери в харчевню, куда устремился Котошихин, были открыты, и огромная баба выпячивалась из неё задом, орудуя скобелем по облитым ключевым кипятком доскам пола. Возле крыльца ждали часа войти в кормовую избу несколько приказных людишек и молча дивились на могучую дородность полемойки, перемигиваясь промеж собой. Баба закончила скобление, припод-

няла двухведёрную шайку воды и обрушила её на пол, порог и крыльцо. Людишки вмиг отпрянули в сторону и загомонили, баба была им известна, и они, не стесняясь, стали задевать её грубыми шутками, она на это помалкивала и вдруг шагнула к народу, подняв вверх тяжёлые кулачищи. Все горохом сыпанули от неё в разные стороны, а из харчевни донесся надтреснутый бас:

– Лукерья! Не мешай людям оскоромиться пустыми вчерашними щами.

Харчевник привирал, щи были с рыбьими костями и свежей капустой, миска с краюхой хлеба стоила полушку, её бросали в берестяной туюсок, забирали яство и усаживались на скамью за высокобленный добела стол. Ложек не полагалось, но всяк имел её при себе, кто за поясом, кто в сапоге, кто привязанной к пуговице армяка или кафтана.

Гришка не торопился, подождал, пока самые нетерпеливые облепят, как мухи, котёл, и прошёл через кормовое помещение в следующую комнату, которая была чище первой, с крашенными охрой стенами, выбеленным мелом потолком и несколькими столами со скамейками.

Харчевник приветствовал его расставлением в стороны рук и лёгким поклоном, он давно знал и отличал от других посольского подьячего, как никогда не пытавшегося отобедать в долг едока. Гришка поздоровался и осёкся: в углу комнаты сидел и с улыбкой поглядывал на него подьячий Приказа тайных дел Юрий Никифоров.

«Он здесь по мою голову! – ослепительной вспышкой мелькнуло в голове недавнего царского гонца. – А я, дурень, ещё не избавился от письма Эберса, оно и сейчас у меня на шее, как камень».

Котошихин сглотнул сухой комок в горле и сделал шаг навстречу неизвестности:

– Будь здоров, Юрий Иванович! – он поклонился в пояс. – А я уже в Стокгольм сгонял по государеву делу.

– Как же, слышал, – лениво промолвил Никифоров. – Растёшь, Григорий, скоро тебя поверстают в средние подьячие, а там уж недалеко и в дьяки.

Котошихин беспомощно глянул на харчевника, словно искал у него выручки, но не дождался и опять поклонился в пояс.

– Добро, – решил Никифоров. – Притуляйся ко мне, может, когда-нибудь будешь в силе и славе и меня, хилого, не обнесёшь своей милостью.

Харчевник, повинувшись жесту Никифорова, скоро вынес и поставил на стол закуски и кувшин, к которому добавил две серебряные чарки.

– Ты удивлён? – поинтересовался подьячий. –

Сам-то ты по утрам винцом пока не балуешься? Верю. Ты, Гришка, почти трезвенник, а кто я, и сам не знаю.

Он сорвал с крышки кувшина орленую печать, наполнил всклень обе чарки и одну пододвинул Котошихину.

– Что мнёшься, пей! Тебе ведь не в службу.

«Он и это ведаёт!» – ужаснулся Гришка, беря дрожащей рукой посудину. – За твоё здоровье, Юрий Иванович!

На котошихинское здравствование Никифоров как-то неожиданно и смешно хрюкнул и опрокинул чарку в свой зев. Гришка от него не отстал и, закусывая вино квашеным капустным ломтем, углядел, что подьячий уже пьян. У него отлегло от сердца, Никифоров ему стал не опасен, ведь не поволокёт он его, будучи в таком виде, к себе в Тайный приказ.

Но Юрий Иванович глядел мимо Гришки, и перед его глазами стоял пыточный подвал Разбойного приказа, в котором он провёл вместе с дьяком Башмаковым всю ночь, разыскивая с пристрастием «слово и дело», сказанное на подьячего Аптекарского приказа Мефодьку Хмельёва, который уже не единожды внушал своим соратникам по кружалу, что Земля и прочие планеты бегают вокруг Солнца, а Солнце стоит на одном месте без всякого движения, хотя любому здравому рассудку ясно, что оно всходит над землёй утром и заходит вечером. После третьего удара тяжёлой плетью Мефодька доложил, что глаголемое им непотребство не ограничивается хулой на Божественное устройство мира, но и простирается на мирские дела: он и в московских порядках выискал много такого, что ни в какой пример не идёт с немецкими, где царит правда в судах и каждый волен говорить и делать как он похочет.

Никифоров усилием воли стряхнул с себя воспоминание, наполнил чарки и поднял взгляд на Котошихина:

– Ответь, Гришка, как Земля ходит – вокруг Солнца или Солнце вокруг земли?

– Мне, Юрий Иванович, как-то все равно, кто вокруг кого ходит, – вымолвил, преданно взвизываясь на Никифорова, посольский подьячий.

– Мне бы так прожить, чтобы на меня за всю мою жизнь ничего не свалилось тяжелее моей шапки.

– Вот ты каков, – трезво глянул на него Никифоров. – Беда от вас, грамотеев, нынче всю ночь слушал одного подьячего, который захотел в звездочёты податься и углядел, что Земля вокруг Солнца ходит, и признался в этом только на дыбе. А если тебя взять на дыбу? Она, брат, с любо-

го пестроту смывает, и сразу становится видно, какой человек внутри – чёрный или белый.

– И что с тем подьячим стало? – тихо спросил Котошихин. – Ужели из-за этого его казнили кнутом?

Никифоров приблизил свое лицо к Котошихину и жарко зашептал:

– Звездоглядство – это малая его дурь, но сей подьячий хаял московские порядки и хвалил немецкие, кричал в кружале, что его на Москве вот-вот стошнит. Разве после такого долго живут?

Котошихин мертвенно побледнел, ему почудилось, что пришёл и его черед идти к ответу и Никифоров пока играет с ним, как кот с мышью, но на уме держит взять Гришку на дыбу.

– Как там шведские порядки? – откинулся от Котошихина подьячий Тайных дел. – Каждый день мостовые моют с мылом, попы ходят чисто выбритые, не то что наши, долгогривые батьки, и ба-тогами там своих посольских не бьют... Ну и как тебе показалась Швеция?

– Я её не видел! – взвизгнул Гришка. – Бегом прибежал, бегом убежал, мне эта Стекольня и во сне не кажется!

– Уймись! – мрачно сказал Никифоров. – Всё-то ты врешь. Я вашего брата, приказную вошь, насквозь вижу! Все вы, как нюхнёте западной прелести, так будто не в себе делаетесь. Взять хотя бы Войку Нащёкина. Ты его в Стокгольме не встречал? Часом, он не близ шведского короля отирается?

Котошихин беспомощно заглядывался по сторонам, ища взглядом кого-нибудь, кто смог бы оборонить его от Никифорова, но Юрий Иванович и сам потерял к нему интерес, встал из-за стола и трезво вышел вон. Харчевник мигом подбежал к столу, схватил кувшин, плеснул немного вина в чашку для Гришки и унёс посудину в чулан: подьячий Приказа тайных дел имел право пить хмельное где ему вздумается, но Котошихина сие не касалось.

«Этот Никифоров – страшный человек, – подумал Гришка. – И нюх у него, как у легавой собаки. Ещё ничего на мне нет, а он уже закружил вокруг меня, как кобель возле потекшей сучки».

### **Николай Алексеевич ПОЛОТНЯНКО**

*родился в 1943 году в Алтайском крае.*

*Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.*

*Прозаик, поэт, публицист.*

*Автор романов, в том числе трилогии («Государев наместник», «Атаман всея гулевой Руси», «Клад Емельяна Пугачева», под псевд. Николай Суздаев, ЭКСМО, (2007–2009), а также поэтических книг: «Братина» (1977), «Просёлок» (1982), «Круги земные» (1989), «Журавлиный оклик» (2008), «Русское зарево» (2011), «Бунт совести» (2015), «Судьба России» (2016) и др.*

*Основатель журнала «Литературный Ульяновск» и главный редактор (2006–2018).*

*Награждён литературной премией имени И.А. Гончарова (2008), Почётной медалью имени Н.М. Карамзина (2011), орденом Достоевского I-й степени (Пермский край, 2014) и др.*

